

ХУАН ГАБРИЭЛЬ ВАСКЕС

ТАЙНАЯ ИСТОРИЯ КОСТАГУАНЫ

ПРЕМИИ IMPAS И ALFAGUARA

«МОЩНОЕ СОЧЕТАНИЕ ИСТОРИИ, ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ИГРЫ С ЧИТАТЕЛЕМ»

LOS ANGELES TIMES

Хуан Васкес

Тайная история Костагуаны

Издательство "Livebook/Гаятри"

2007

УДК 82-3
ББК 84

Васкес Х. Г.

Тайная история Костагуаны / Х. Г. Васкес — Издательство
"Livebook/Гаятри" , 2007

ISBN 978-5-907428-98-0

Блистательный исторический и постмодернистский роман от автора книги «Шум падающих вещей». Много лет назад уроженец Колумбии Хосе Альтамирано рассказал писателю Джозефу Конраду историю своей жизни, и она под пером писателя превратилась в вымысел, роман «Ностромом». Разрываемая политической борьбой Колумбия стала в нем полумифической Костагуаной. Но теперь колумбиец жаждет сам записать свою жгучую исповедь и восстановить истинный ход событий – бури революций, поиски отца, эпопею строительства Панамского канала, обстоятельства неожиданной любви и бегства в Европу... Хуан Габриэль Васкес с изобретательностью, достойной наследника Маркеса, Борхеса и Кортасара, играет с читателем, предлагая увидеть за текстом классика иной текст, напитанный кровью реальности, но на деле также бескомпромиссно смешивающий судьбы империй, свидетельства участников исторических событий и великолепные плоды писательского воображения.

УДК 82-3

ББК 84

ISBN 978-5-907428-98-0

© Васкес Х. Г., 2007
© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2007

Содержание

Первая часть	6
I	6
II	19
III	33
Конец ознакомительного фрагмента.	38

Хуан Габриэль Васкес

Тайная история Костагуаны

Мартине и Карлоте, которые родились с книжкой под мышкой

Хочу рассказать тебе о книге, занимающей меня сейчас. Трудно признаться в подобной дерзости, но действие я поместил в Южную Америку, в республику под названием Костагуана.

Джозеф Конрад, письмо к Роберту Каннингему-Грэму

JUAN GABRIEL VÁZQUEZ
HISTORIA SECRETA DE COSTAGUANA

Published in agreement with Casanovas & Lynch Literary Agency

© Juan Gabriel Vásquez, 2007

© Дарья Сеницына, перевод на русский язык, 2023

© Livebook Publishing LLC, 2023

Первая часть

*Нет Бога в стране, где люди не желают даже пальцем шевельнуть
в свою защиту¹.
Джозеф Конрад, «Ностромо»*

I

Лягушки брюхом кверху, китайцы и гражданские войны

Скажем, не откладывая: умер человек. Нет, этого мало. Я выражусь точнее: умер Романист (да, вот так, с большой буквы). Вы поняли, о ком я. Нет? Ладно, попробую еще раз: умер Великий Романист, писавший по-английски. Умер Великий Романист, писавший по-английски, поляк по рождению и более мореход, нежели писатель. Умер Великий Романист, писавший по-английски, поляк по рождению и более мореход, нежели писатель, который из неудачливого самоубийцы превратился в живого классика, из обыкновенного контрабандиста и торговца оружием – в Бриллиант Британской Короны. Дамы и господа, скончался Джозеф Конрад. Я встретил эту новость непринужденно, как встречают старого друга. И не без сокрушения понял, что ждал ее целую жизнь.

Я начинаю писать, а на столе, обитом зеленой кожей, разложены все лондонские газеты (микроскопические шрифты, затейливые узкие колонки). Из прессы, сыгравшей немало разных ролей в моей жизни – иногда пресса угрожала разрушить ее, иногда придавала ей пусть неяркий, но блеск, – узнаю об инфаркте и его обстоятельствах: приход сиделки Винтен, крик, слышимый на первом этаже, тело, падающее с кресла. Стараниями охочей до сенсаций журналистики переносюсь на похороны в Кентербери, глазами беспардонных репортеров вижу, как спускают гроб и могилу накрывают плитой, пестрящей ошибками (лишняя «к», в одном из имен перепутаны местами гласные). Сегодня, 7 августа 1924 года, пока в моей далекой Колумбии отмечают сто пять лет со дня битвы при Бояке, здесь, в Англии, пышно и торжественно оплакивают уход Великого Романиста. Пока в Колумбии вспоминают победу сторонников независимости над войсками Испанской империи, здесь в землю другой империи лег навсегда человек, который украл у меня...

Но нет.

Пока еще нет.

Пока еще рано.

Еще рано описывать способ и сущность этой кражи, рано рассказывать, какой товар был украден, что двигало вором, как именно пострадала жертва. Я уже слышу доносящиеся из партера вопросы: что же общего может быть у знаменитого романиста и бедного, никому не известного изгнанника-колумбийца? Запаситесь терпением, читатели. Не стремитесь узнать все с самого начала, не пускайтесь в собственные изыскания, не спрашивайте, ибо ваш рассказчик, словно добрый отец семейства, обеспечит вас всем необходимым по мере того, как будет разворачиваться повествование... Иными словами – положитесь на меня. Я сам решу, когда и как говорить, когда скрывать, когда делиться, а когда теряться в закоулках памяти – ведь и последнее имеет свою прелесть. Речь пойдет о невероятных убийствах и неожиданных повешениях, об элегантных началах войн и неряшливых мирных договорах, о пожарах и наводнениях, о кораблях-интриганах и поездах-конспираторах, но некоторым образом все,

¹ Здесь и далее цитаты из романа Джозефа Конрада «Ностромо» приводятся в переводе Е. Коротковой. – *Примеч. пер.*

что вы услышите, будет предназначено разъяснить вам и мне самому целую цепочку – звено за звеном – событий, приведших ко встрече, предначертанной судьбой.

Да, следует признать: такое неприятное явление, как судьба, отчасти несет ответственность за все это. У нас с Конрадом, хоть мы и родились за множество меридианов друг от друга и выросли в совершенно разных полушариях, было общее будущее, и в этом с первого взгляда мог бы убедиться даже самый закоренелый скептик. Когда так случается, когда пути двух людей, рожденных далеко друг от друга, должны неминуемо пересечься, карту можно нарисовать и задним числом. В большинстве случаев пути пересекаются единожды: Франц Фердинанд сталкивается в Сараеве с Гаврилой Принципом, и под выстрелами погибает он сам, его супруга, XIX век и какая-либо определенность, касающаяся будущего Европы; генерал Урибе Урибе сталкивается в Боготе с двумя рабочими, Галарсой и Карвахалем, и вслед за этим гибнет недалеко от площади Боливара: в голову ему воткнут топорик, спину отягощает бремя нескольких гражданских войн. Мы с Конрадом столкнулись лишь однажды, но еще один раз, гораздо раньше, были на волосок от встречи. Двадцать семь лет прошло между двумя событиями. Едва не состоявшаяся встреча имела место в 1876 году в колумбийской провинции Панама, а вторая – истинная и роковая – в конце ноября 1903 года. И именно здесь: в вавилоноподобном, имперском и упадническом Лондоне. Здесь, в городе, где я пишу и где меня предсказуемо ждет смерть, в пахнущем углем и накрытом серыми небесами городе, куда я прибыл по причинам, пояснить которые нелегко, но необходимо.

В Лондон я, как и многие люди из многих мест, приехал, убегая от выпавшей на мою долю истории, точнее, от истории, выпавшей на мою долю страны. Иными словами, я приехал в Лондон, потому что история моей страны изгнала меня. Или даже *иными* иными словами: я приехал в Лондон, потому что история здесь давно остановилась – в этих краях ничего не происходило, все уже изобрели и сделали, все идеи уже пришли в нужные головы, все империи возникли, все войны отгремели, и здесь я навсегда был бы избавлен от бедствий, которыми Великие Времена могут обернуться для Маленькой Жизни. Мой переезд стал, следовательно, актом самозащиты: суд должен принять это во внимание.

Ведь и меня обвинят в этой книге, и я тоже буду сидеть на пресловутой скамье подсудимых, хотя терпеливому читателю придется преодолеть немало страниц, чтобы узнать, в чем себя обвиняю. Я, бежавший от Великой Истории, отойду сейчас на целый век назад, в недра моей маленькой истории, и попытаюсь исследовать корни моего несчастья. В тот вечер, когда мы встретились, мою историю услышал Конрад, а теперь, любезные читатели – будущие судьи, господа присяжные читатели, – настал ваш черед. Ведь успех повести зиждется как раз на этой предпосылке: все, что стало известно Конраду, станет известно и вам.

(Но есть и еще один человек... Элоиса, тебе также предстоит познакомиться с этими воспоминаниями, этими признаниями. И в свое время ты тоже вынесешь мне оправдательный или обвинительный вердикт.)

История начинается в феврале 1820 года, пять месяцев спустя после того, как Симон Боливар триумфально вступил в столицу моей недавно освобожденной страны. У всякой истории есть отец; эта как раз и начинается с рождения моего отца: дона Мигеля Фелипе Родриго Ласаро дель Ниньо Хесуса Альтамирано. Мигель Альтамирано, известный среди друзей как Последний человек эпохи Возрождения, родился в Санта-Фе-де-Богота, шизофреническом городе, который впоследствии стали называть вперемежку то Санта-Фе, то Боготой, а то и просто «этим окаянном местом». Пока моя бабушка вцеплялась повитухе в волосы и издавала крики, пугавшие рабов, в нескольких шагах оттуда подписывался закон, по которому Боливар в качестве «отца отечества» волен был выбирать имя новенькой, с пылу с жару, стране, и свершалось торжественное крещение. Таким образом, Республика Колумбия, шизофреническая страна, которую впоследствии стали называть то Новой Гранадой, то Соединенными Штатами

Колумбии, а то и просто «этим окаянным местом», была покамест грудной малюткой – еще не успели остыть трупы расстрелянных испанцев, – но все же именно ее напрасное крещение, а не какой-нибудь другой факт истории, совпало с рождением моего отца. Признаюсь, я испытывал соблазн сказать, будто бы он родился в день объявления независимости, – всего-то несколько месяцев разницы (и теперь задаюсь вопросом: кто бы стал возражать, поступи я так? Точнее, кто бы вообще заметил?). Надеюсь, вы не утратите доверие ко мне после такого признания. Господа присяжные читатели, я знаю, что склонен к ревизионизму и охоч до мифов, знаю, что иногда сбиваюсь с пути, но вскоре возвращаюсь в тесный загон повествования, к трудным законам точности и правдоподобия.

Мой отец был, как я уже сказал, Последним человеком эпохи Возрождения. Не могу утверждать, что по жилам его текла голубая кровь – этого словосочетания следовало избегать в новой республике, – но, во всяком случае, некая багровая или даже пурпурная жидкость. Его наставник, хрупкий болезненный человек, получивший образование в Мадриде, воспитывал юного Альтамирано на «Дон Кихоте» и стихах Гарсиласо, но воспитанник, который к двенадцати годам успел стать заправским бунтарем (а также отвратительным литературным критиком), не хотел ничего знать про чужаков-испанцев и их литературу – «голос вторжения». Он выучил английский, чтобы читать Томаса Мэлори, и одно из первых его стихотворений, сверхромантическое и до безобразия чувствительное (лорд Байрон сравнивался в нем с Симоном Боливаром), было опубликовано под псевдонимом Ланселот Озерный. Впоследствии отец узнал, что Байрон в самом деле хотел воевать вместе с Боливаром, а в Грецию попал исключительно по воле случая, и с тех пор чувства к романтикам – английским и прочим – постепенно стали вытеснять благоговение перед другими историческими лицами, унаследованное от предков.

Впрочем, не подчиняться предкам оказалось нетрудно, поскольку к двадцати годам наш креольский Байрон остался сиротой. Маму свела в могилу оспа, а отца – куда более элегантно – христианство. Мой дед, славный полковник, успевший сразиться не с одним испанским драгунским полком, служил в южных провинциях, когда прогрессистское правительство постановило закрыть четыре монастыря, и стал свидетелем первых мятежей: поборники религии защищали ее штыками. Один такой римско-католический апостольский штык, стальное острие крестового похода за веру, проткнул деда несколько месяцев спустя: известие долетело до Боготы в то самое время, когда город готовился отбить нападение мятежников-христиан. Но Богота, или Санта-Фе, как и вся страна, разделилась в себе, и мой отец всегда помнил, как выглядывал из окна университета и видел процессию жителей, несущих статую Христа в генеральской форме, слышал крики: «Смерть евреям!» и удивлялся тому, что это кричат про его пронзенного штыком отца, а после возвращался к занятиям и наблюдал за однокашником, который каким-нибудь остроконечным и отлично заточенным инструментом вскрывал трупы, привезенные прямо с поля боя. Ибо в те годы ничто, совершенно ничто не увлекало креольского Байрона так, как возможность собственными глазами видеть невероятный прогресс медицины.

Слушаясь отца, он поступил на юридический факультет, но вскоре стал посвящать кодексам и законам лишь первую половину дня. Словно донжуан, разрывающийся между двумя любовницами, он вставал в мучительно ранние пять утра и слушал про типы преступлений и способы завладения имуществом, а после обеда начиналась его тайная, скрытая, параллельная жизнь. За несусветные полреала отец купил шляпу с врачебной кокардой, чтобы его не сцапала дисциплинарная полиция, и ежедневно до пяти уходил на медицинский факультет, где долго наблюдал, как его ровесники, такие же, как он, ничуть не умнее, дерзают проникнуть, словно первооткрыватели, в доселе неведомые области человеческого тела. Он стал восхищенным свидетелем того, как его друг Рикардо Руэда собственноручно принял двойняшек, рожденных вне больницы одной андалусской цыганкой, а вскоре после удалил аппендикс племяннику дона Хосе Игнасио де Маркеса, профессора римского права. Тем временем всего в

нескольких кварталах от университета проводилась иная процедура, не хирургическая, но тоже чреватая серьезными последствиями: в бархатных министерских креслах сидели друг против друга два человека с гусиными перьями в руках и подписывали договор Мальярино – Бидлэка. Согласно статье XXXV, страна, называвшаяся тогда Новая Гранада, передавала Соединенным Штатам исключительное право транзита через перешеек в провинции Панама, а Соединенные Штаты обязывались, в частности, сохранять строгий нейтралитет в вопросах внутренней политики. Вот оно, начало хаоса, вот оно...

Но нет.

Пока еще нет.

Через несколько страниц я вернусь к этой теме.

Последний человек эпохи Возрождения получил диплом юриста, но, забегая вперед, скажу, что дипломом своим он так и не воспользовался – был чересчур поглощен делом Просвещения и Прогресса. К тридцати годам за ним не числилось ни одной возлюбленной, зато он без счета основывал бентамианские/революционные/социалистические/жирондистские газеты. Не было такого епископа, которого бы он не оскорбил, и такого приличного семейства, которое не отказало бы ему от дома, не говоря уже об уходе за дочерьми. (В недавно открытой школе для благородных девиц Ла-Мерсед само его имя приравнивалось к анафеме.) Мало-помалу отец выучился тонкому искусству наживать врагов и отрезать себе пути куда бы то ни было, а столичное общество со своей стороны охотно закрыло перед ним двери. Отца это не беспокоило: к тому времени страну, где он вырос, нельзя было узнать – границы изменились либо грозили вот-вот измениться, называлась она по-другому, политическое устройство проявляло такое же непостоянство, как сердце красавицы, а правительство, за которое погиб мой дед, стало, с точки зрения отца, поклонника Ламартина и Сен-Симона, омерзительно реакционным.

На сцену выходит Мигель Альтамирано – активист, идеалист, оптимист, Мигель Альтамирано не столько либерал, сколько радикал и антиклерикал. Во время выборов 1849 года мой отец был среди тех, кто закупал полотнища для развешенных по всей Боготе транспарантов «Да здравствует Лопес, гроза консерваторишек!», среди тех, кто собирался у Конгресса с целью запугать (успешно) людей, выбиравших нового президента, среди тех, кто – когда Лопес, кандидат от молодых революционеров, уже победил – требовал на страницах очередной газеты, то ли *El Mártir*, то ли *La Batalla*, не помню, изгнания иезуитов. Последовала реакция реакционного общества: восемьдесят девочек в белых платицах с цветами в руках вышли ко дворцу в знак протеста; в своей газете отец назвал их «инструментами мракобесия». Двести дам безупречного происхождения повторили демонстрацию – мой отец распространил листовку с заголовком «Посей иезуитов – пожнешь матрон». Священники Новой Гранады, лишённые прав и привилегий, с течением месяцев лишь ужесточали свою позицию, и напряжение все нарастало и нарастало. В ответ мой отец присоединился к масонской ложе «Звезда Текендамы»: тайные собрания давали ему ощутить, что он участвует в сговоре (следовательно, существует); к тому же при посвящении его освободили от физических испытаний, и это наталкивало на мысль, что масонство для него – почти что родная гавань. Его стараниями в ложу ввели двух молодых священников, и мастера признали за ним успех, повысив раньше срока. И в какую-то минуту мой отец, юный солдат в поисках битв, обрел-таки одну битву, которая вначале показалась ему незначительной, даже ничтожной, но в конце концов косвенными путями переменяла всю его жизнь.

В сентябре 1852 года, пока по всей Новой Гранаде шли небольшие всемирные потопы, мой отец узнал от бывшего товарища по медицинскому факультету, тоже либерала, но менее воинственного, о последней попытке попать бога по имени Прогресс: падре Эусторхио Валенсуэла, самопровозглашенный «духовный хранитель» университета Боготы, запретил, хоть и

не официально, использование человеческих трупов в педагогических, анатомических и академических целях. Студенты-хирурги отныне будут практиковаться на лягушках, крысах или кроликах, говорил падре, а человеческое тело, творение божественной длани и воли, священное вместилище души, неприкосновенно и требует уважения.

«Средневековый шарлатан! – взвился мой отец в очередной газете. – Подлый косный церковник!» Но это не помогло: падре имел множество сторонников, и вскоре приходские священники близлежащих городков Чиа, Боса и Сипакира воспрепятствовали проникновению студентов из порочной столицы в местные похоронные конторы. Светское начальство университета оказалось под давлением со стороны отцов приличных семейств и само не заметило, как уступило шантажу. Столы для препарирования теперь были полны вскрытыми лягушками – белое рыхлое брюшко вспорото скальпелем по фиолетовой линии, – а в кухне половина кур шла на саночо, половина – на офтальмологию. «Запрет на тела» стал притчей во языцех в салонах и за несколько недель просочился на первые страницы газет. Мой отец объявил об основании движения за «новый материализм» и в своих манифестах цитировал беседы со многими светилами: «Ни разу на столе для препарирования, – говорили некоторые, – мой скальпель не наткнулся на чью-то душу». Другие, более смелые (но часто желавшие остаться неизвестными) утверждали: «Святая Троица уже не та: на смену Святому Духу пришел Лаплас». Последователи – вольные или невольные – Валенсуэлы, в свою очередь, основали движение за «старую духовность» и подбросили в топку спора свидетелей и громкие лозунги. В их пользу говорил, например, весьма убедительный факт: Паскаль и Ньютон были добрыми и набожными христианами. Кроме того, ревнители духовности могли воспользоваться пошлой, но действительной присказкой: «Две рюмки науки ведут к атеизму, а три – к вере». Примерно в таком русле и развивалось (точнее, не развивалось) дело.

Над городом жадно кружили стервятники. Умиравшие от холеры, которых с прошлого года немало поступало в больницу Сан-Хуан-де-Дьос, на вес золота ценились и студентами-радикалами, и крестonosцами падре Валенсуэлы. Когда пациент со рвотой и судорогами начинал жаловаться на страшный холод или неутолимую жажду, мгновенно распространялись слухи, и политические силы вставали наизготовку: падре Валенсуэла являлся соборовать больного (синюшная кожа, запавшие глаза) и заодно заставлял подписать бумагу, в которой недвусмысленно значилось: «Я УМИРАЮ ВО ХРИСТЕ И ЗАПРЕЩАЮ ПЕРЕДАВАТЬ МОЕ ТЕЛО НАУКЕ». Отец опубликовал статью, где обвинял священников в том, что они не отпускают грехов умирающим, если те отказываются подписывать подобные заранее заготовленные завещания, а священники в ответ обвинили материалистов в том, что они лишают больных если и не божественного прощения, то рвотного камня. И в пылу этих свар между падальщиками никто не задумался вопросом, как болезнь умудрилась подняться на две тысячи шестьсот метров над уровнем моря и откуда она взялась.

И тут вмешался случай – частый гость в истории всеобщей и такой же завсегдагой в моей. Он принял облик иностранца, человека пришлого. (Это заставило поборников «старой духовности» насторожиться. Они ведь жили все равно что взаперти на плоскогорье, откуда до Карибского побережья было десять дней езды, а зимой и все двадцать. Поэтому последователи падре Валенсуэлы, подобно лошадям в шорах, пугались всего неизвестного и относились к нему с подозрением.) Моего отца стали замечать в компании некоего неместного мужчины. То они выходили вместе из обсерватора, то посещали Комиссию по санитарии и гигиене, а иногда даже являлись в дом моих деда и бабушки, чтобы поговорить на заросшем крапивой заднем дворе, подальше от ушей прислуги. Но прислуга, состоявшая из вольноотпущенных вдовых рабынь и их подрастающих детей, обладала умениями, недоступными отцу, и вскоре вся улица, а потом и близлежащие улицы, а потом и весь квартал узнали, что этот человек, который говорит так, будто сам Вельзевул ему язык перевязал, – владелец поезда, а приехал

он продавать университету Боготы мертвых китайцев – столько, сколько университет пожелает купить.

– Если здешние трупы под запретом, – говорил, по слухам, мой отец, – придется брать заграничные. Если христианские тела под запретом, придется обратиться к иноверным.

Тем самым он подтвердил худшие подозрения поборников «старой духовности».

Среди которых был и падре Эчаваррия, настоятель церкви Святого Фомы, человек более молодой, чем Валенсуэла, и гораздо, гораздо более энергичный.

А что же иностранец?

Что же человек пришлый?

Несколько слов, точнее, несколько пояснений об этом персонаже. Вельзевул не завязывал ему язык – просто он говорил с бостонским акцентом, и был он не владелец поезда, а представитель Панамской железнодорожной компании, и приехал он не продавать университету мертвых китайцев... Хотя все же да: он собирался продавать университету мертвых китайцев – по крайней мере, такова была одна из его миссий в качестве посланника в столице. Нужно ли говорить, что она оказалась успешной? Мой отец и его материалисты оказались приперты к стенке, противник крепко припер их, и они совсем отчаялись, ведь дело касалось не просто дебатов в прессе, а важной битвы в долгой борьбе Света против Тьмы. Появление представителя компании – его звали Кларенс, и происходил он из семьи протестантов – их просто спасло. К согласию пришли не сразу: потребовалось множество писем, множество разрешений, множество вознаграждений (взятки – сказал Валенсуэла). Но в июле из Онды, а туда – из Барранкильи, а туда из нового города Колон, основанного всего несколько месяцев назад, прибыли пятнадцать бочек со льдом. В каждой бочке находился скрюченный китаец-кули, недавно скончавшийся от дизентерии, малярии или даже холеры, которая для боготинцев уже канула в прошлое. Множество безымянных трупов отправлялось из Панамы и по другим направлениям, и этому суждено было продолжаться, пока строящаяся железная дорога не выбралась из трясины, где тогда велись работы, и не дошла до почвы, на которой можно было устроить кладбище, способное выдерживать каверзы климата до самого Судного дня.

Мертвые китайцы могли бы рассказать собственную историю. Не волнуйся, дорогая Элоиса: перед тобой не такая книга, где покойники говорят, красавицы возносятся в небо, а сельские падре воспаряют над землей, выпив горячего шоколада. Однако я надеюсь, мне будет позволено небольшое отступление, а может, и не одно. Университет заплатил за мертвых китайцев неразглашенную сумму, не превышавшую, по сведениям некоторых людей, три песо за голову – то есть какая-нибудь портниха могла насобирать на труп за три месяца работы. Вскоре молодые хирурги уже вовсю рассекали скальпелями желтую кожу, а лежавшие на столах бледные и хладные китайцы, желая успеть высказаться до собственного разложения, заговорили о Панамской железной дороге. Они рассказали то, что сегодня известно каждому, но тогда было ошеломительной новостью для большинства из тридцати тысяч жителей столицы. Действие теперь переносится на север (в пространстве) и на несколько лет назад (во времени). И вот исключительно силой моего единоличного повеления этой историей мы оказываемся в местечке Колома, штат Калифорния. На дворе 1848 год. Точная дата – 24 января. Плотник Джеймс Маршалл проделал долгий и трудный путь из Нью-Джерси, мечтая завоевать край света и устроить там лесопилку. Он копает и вдруг замечает в земле что-то блестящее.

И мир сходит с ума. Вскоре на восточном побережье Соединенных Штатов понимают, что путь к золоту пролегает через дремучий перешеек в дремучей провинции дремучей, постоянно меняющей название страны, через кусок смертельно опасных джунглей, все преимущество которого состоит в том, что это самая узкая часть Центральной Америки. Всего через год к панамскому порту в бухте Лимон уже подплывает пароход «Фалкон» и торжественно заходит в реку Чагрес; на борту сотни гринго потрясают кастрюлями, ружьями и кирками, словно

нестройный плавающий оркестр, и спрашивают, а где здесь, черт побери, Тихий океан. Некоторым удается это выяснить; некоторые из выяснивших добираются туда, куда хотели. А другим не суждено увидеть конца пути: они умирают от лихорадки – не золотой, а обычной, – и рядом дохнут их мулы; мертвые люди и мулы валяются спина к спине в зеленом речном иле, поверженные зноем этих болот, где деревья не пропускают свет. Вот он, новый облик Эльдорадо, Золотого пути, лежащего в предшествующем открытию мороке: это место, где нет солнца, где от жары скукоживаются тела, где можно поводить пальцем в воздухе, и палец станет мокрым, словно его окунули в реку. Это место – ад, но ад водный. А золото меж тем все зовет и зовет, и нужно что-то делать, чтобы пересечь преисподнюю. Одним взглядом я окидываю страну: пока в Боготе мой отец призывает изгнать иезуитов, в панамской сельве, шпала за шпалой, покойник за покойником, начинает вершиться чудо железной дороги.

И пятнадцать китайских кули, покоящихся на длинных столах для препарирования в столичном университете, пятнадцать китайских кули, у которых уже проступают темные пятна на спине (если они лежат на спине) или на груди (если наоборот), учат рассеянного студента, где у человека печень и какова длина толстого кишечника, а потом гордо говорят хором: «И мы там были! Мы прорубили путь в сельве, мы разрыли эти болота, мы положили рельсы и шпалы». Один из китайцев нашептывает свою историю моему отцу, а тот, склонившись над окоченевшим трупом, из чисто возрожденческого любопытства смотрит, что это там под ребром, и вслушивается даже внимательнее, чем ему самому кажется. Что же там под ребром? Отец просит пинцет, и пинцет выуживает из тела бамбуковую палочку. И бессовестный болтливый китаец начинает рассказывать, как терпеливо он эту палочку заточил, как аккуратно, мастерски вонзил ее в илистую почву и как сильно обрушился всем своим весом на заостренный конец.

– Самоубийца? – спрашивает отец (не самый умный вопрос, признаем).

Нет, возражает китаец, он не сам лишил себя жизни, жизни его лишила меланхолия, а до нее – малярия... Его лишило жизни то, как больные товарищи вешались на веревках, выданных им для строительных работ, то, как они похищали у надсмотрщиков пистолеты, чтобы пустить себе пулю в лоб, его лишило жизни осознание, что в этом болотистом краю невозможно построить достойное кладбище, и вот так-то жертвы сельвы и разъехались по миру в бочках со льдом.

– Я, – говорит уже почти полностью посиневший и почти невыносимо воняющий китаец, – я, при жизни строивший Панамскую железную дорогу, после смерти помогу оплачивать ее строительство, как и остальные девять тысяч девятьсот девяносто восемь мертвых рабочих – китайцев, негров и ирландцев, – которые сейчас посещают университеты и больницы по всему свету. Ах, как далеко заносит тело...

Вот что рассказывает мертвый китаец моему отцу.

Но мой отец слышит нечто иное.

Он слышит не историю личных трагедий и видит в китайце не безымянного и бездомного рабочего, которого невозможно похоронить по-человечески. Он видит в нем мученика, а в истории железной дороги – настоящую эпопею. Поезд против сельвы, человек против природы. Мертвый китаец – посланник грядущего, свидетель Прогресса. Он рассказывает, что на том самом судне «Фалкон» был пассажир, больной холерой, – прямой виновник двух тысяч смертей в Картахене и нескольких сотен в Боготе. Но мой отец лишь восхищается этим пассажиром, способным бросить все и устремиться за мечтой о золоте сквозь сельву-убийцу. Китаец рассказывает про кабаки и бордели, которыми кишит Панама с самого приезда иностранцев, а для отца каждый пьяный рабочий – рыцарь Круглого стола, каждая проститутка – амазонка. Семьдесят тысяч шпал – семьдесят тысяч обетов будущего. Железнодорожная линия, легшая через перешеек, – пуп земли. Мертвый китаец – уже не просто посланник, он ангел благовеще-

ния, думает отец, и он явился донести в его печальную, подобную палой листве боготинскую жизнь неясное, но блистательное предначертание жизни лучшей.

Слово имеет защита: руку мертвому китайцу мой отец отрезал вовсе не из безумия. Не из безумия – напротив, никогда прежде он не ощущал такой трезвости в мыслях – отнес ее мясникам в Чапинеро, чтобы очистили, и положил на солнце (столь редкое в Боготе), чтобы высохла. Укрепил ее бронзовыми винтами на небольшом пьедестале, кажется мраморном, и поставил на полке в библиотеке, между лишенным обложки изданием «Крестьянской войны в Германии» Энгельса и миниатюрным портретом моей бабушки с гребнем в волосах (холст, масло, школа Грегорио Васкеса). Нарочно распрямленный указательный палец каждой из своих обнаженных фаланг говорил отцу, по какому пути ему следует отправиться.

Друзья, бывавшие у отца в тот период, подтверждали: так оно и есть, пястные и запястные кости устремлены в сторону Панамского перешейка, подобно тому, как мусульманин смотрит в сторону Мекки. Но я, как бы мне ни хотелось увести рассказ туда, куда указывает сухой, бесплотный перст, должен сперва сосредоточиться на кое-каких происшествиях из жизни моего отца, который в одно прекрасное утро 1854 года от Рождества Христова вышел на улицу и узнал от знакомых, что его отлучили от церкви. С «Запрета на тела» прошло уже столько времени, что он не сразу связал одно с другим. Однажды в воскресенье, пока мой отец принимал временный титул мастера в своей масонской ложе, бдительный падре Эчаваррия назвал его имя с амвона церкви Святого Фомы. Мигель Альтамирано обагрят руки кровью безвинных. Мигель Альтамирано торгует душами умерших, и подельник его – Дьявол. Мигель Альтамирано, объявил падре Эчаваррия своим верным прихожанам и фанатикам, – настоящий враг Бога и Церкви.

Мой отец, как диктовали обстоятельства и требовали предшествовавшие события, отнесся к отлучению несерьезно. Всего в нескольких шагах от пышных и святых врат церкви находилась самая что ни на есть скромная, и уж конечно, не святая дверь типографии; в то же воскресенье, поздно вечером отец вручил колонку для *El Comunero*.

(Или для *El Temporal*? Уточнения, вероятно, излишни, но все же меня терзает неспособность проследить историю листков и газет, публиковавшихся отцом. *La Opinión? El Granadino? La Opinión Granadina* или *El Comunero Temporal*? Бесполезно. Господа присяжные читатели, простите мне мое беспамятство.)

Так или иначе, отец написал колонку, неважно – для какой газеты. Далее я не буквально повторяю его статью, но, думается мне, верно передаю ее дух. «Одно отсталое духовное лицо из тех, что превратили веру в суеверие, а христианское служение – в языческое сектантство, присвоило себе право отлучить меня от церкви, пренебрегая решением прелата и в особенности здравым смыслом», – объявил он всей Боготе. «Нижеподписавшийся, доктор земных наук, глашатай общественного мнения и защитник ценностей цивилизации, получил в этом качестве широкое и неограниченное право представлять народ, который решил отплатить духовному лицу той же монетой. Посему пресвитер Эчаваррия, да поможет ему Бог, отлучается настоящим посланием от сообщества цивилизованных людей. С амвона Святого Фомы он изгнал нас из своей общины, а мы с амвона Гутенберга изгоняем его из своей. Решение подлежит исполнению».

Почти неделю ничего не происходило. Но в следующую субботу мой отец и его товарищи-радикалы встретились в кафе *Le Boulevardier*, неподалеку от университетского двора, с актерами испанской труппы, гастролировавшей тогда по Латинской Америке. На их спектакль, вольное переложение «Мещанина во дворянстве» – мещанина заменил сменяемый сомнениями семинарист, – уже успел ополчиться архиепископ, а этого для *El Comunero* или *El Granadino* было достаточно. Мой отец, бывший редактором раздела «Разное» (да, и его тоже), предложил актерам большое интервью; к тому времени оно уже закончилось, редактор убрал

записную книжку и ручку «Ватерлоо», привезенную другом из Лондона, и теперь собравшиеся обсуждали за бренди падре Эчаваррию. Актеры гадали, что случится на предстоящей мессе, ставили на кон целые реалы, пытаясь предсказать содержание воскресной проповеди, и тут начался проливной дождь, и прохожие сбились, как курицы, под навесом у дверей, совершенно загородив вход в кафе. Запахло мокрыми руанами², с брюк и сапог текла вода, пол стал скользким. И тогда мощное сопрано приказало моему отцу встать и уступить место.

Отец никогда не видел падре Эчаваррию: новость об отлучении долетела до него через знакомых, а диспут до той поры разворачивался на страницах прессы. Он поднял глаза и увидел совершенно сухую сутану и уже сложенный черный зонт, кончик которого упирался в лужицу серебристой и переливчатой, словно ртуть, воды, а ручка без труда выдерживала вес женственных рук. Снова зазвучало сопрано:

– Место, еретик!

Я вынужден верить тому, что рассказывал отец много лет спустя: он не ответил, но не из дерзости, а потому что весь эпизод, достойный водевиля, – священник в кафе, сухой священник в окружении промокших людей, священник, чей женский голос сглаживает его вызывающие замашки, – так поразил его, что он не нашел ответа. Эчаваррия воспринял молчание как знак презрения и снова пошел в атаку:

– Место, нечестивец!

– Что-что?

– Место, богохульник! Место, еврей-убийца!

А потом он легонько стукнул отца по коленке кончиком зонта, всего раз или два, и в эту минуту разразилось страшное.

Словно кукла на пружине, отец отбил удар зонта (ладонь стала влажной и немного покраснела) и поднялся. Эчаваррия что-то возмущенно прошипел сквозь зубы – «Да как вы смеете!» или нечто в этом роде. Пока он шипел, отец в минутном приступе благоразумия обернулся, чтобы забрать сюртук и выйти, не глядя на товарищей, но не успел вновь обратить лицо вперед, как падре размахнулся и дал ему пощечину. Не заметил он – как сам часто впоследствии говорил, робко надеясь, что это примут на веру, – и следующего: его рука, будто движимая собственной волей, сжалась в кулак и с невероятной силой, с плеча, врезалась прямо в искривленный возмущением рот под напудренной безусой губой падре Эчаваррии. Челюсть глухо хрустнула, сутана как бы поплыла по воздуху назад, сапоги под сутаной поскользнулись в луже, и зонт упал на пол за секунду до хозяина.

«Видел бы ты! – говорил мне отец через много лет, стоя у моря с рюмкой бренди. – В ту минуту тишина была громче дождя».

Актеры повскакали с мест. Друзья-радикалы повскакали с мест. Каждый раз, вспоминая эту историю, я думаю: если бы отец оказался тогда один, а не в кафе, где собирались студенты, ему пришлось бы столкнуться с разъяренной толпой, желающей немедленно посадить его на кол; а так, если не считать пары разрозненных оскорблений, долетевших неизвестно от кого, и ледяного взгляда двух незнакомцев, которые помогли Эчаваррии подняться, сунули ему в руки зонт и отряхнули сутану (не упустив случая похлопать по священнослужительской ягодице), ничего не произошло. Эчаваррия покинул Le Boulevardier, изрыгая проклятия, каких никто никогда не слышал от церковника в Санта-Фе-де-Богота, и угрозы, достойные марсельского матроса, но тем дело и кончилось. Мой отец поднес руку к лицу, убедился, что щека горит, попрощался со своей компанией и ушел под дождем домой. Через два дня перед рассветом кто-то постучал в дверь. Служанка открыла и никого не увидела. Причина проста: стучала не рука, а молоток, приколотивший листовку.

² Руана – верхняя одежда в виде прямоугольного куска шерстяной ткани, накидывающегося на плечи. – *Примеч. ред.*

На анонимке не значилось, в какой типографии ее напечатали, но в остальном все было яснее ясного: всех верующих призывали отказывать еретика Мигеля Альтамирано в приветствии, хлебе, воде и крове; еретика Мигеля Альтамирано объявляли одержимым бесами, а потому убить его как собаку, без всяких угрызений совести, почиталось отныне актом добродетели, который наверняка будет вознагражден божественным провидением.

Отец сорвал листок с двери, вернулся в дом, отыскал ключи от чулана и достал оттуда один из двух пистолетов, прибывших в сундуке моего деда. Выходя, он задумался, не следует ли уничтожить улики, то есть клочки бумаги, застрявшие под гвоздем, но потом понял, что предосторожность оказалась бы напрасной: тот же самый листок встретился ему десять или пятнадцать раз на коротком пути от дома до типографии, где печатали *La Opinión*. Более того: на улице на отца показывали пальцами и громко обличали – обвинители-католики без всякого суда объявили его врагом. Он давно был привычен к вниманию – но не к враждебности. Обвинители сурово смотрели с деревянных балконов, на шеях у них висели кресты, но отцу не было легче оттого, что сверху не доносилось оскорблений, – это являлось, скорее, подтверждением ожидающей его участи, куда более ужасной, чем простое общественное поругание. Он вошел в типографию и показал хозяевам, братьям Акоста, скомканный листок: не узнают ли они станок? Нет, не узнают. Вторую половину дня провел в Коммерческом клубе, выясняя, что думают товарищи. Радикальные общества уже приняли решение: они ответят огнем и мечом, подожгут каждую церковь и убьют каждого клирика, если Мигель Альтамирано подвергнется нападению. Он почувствовал себя менее одиноким, но понял, что городу грозит скорое несчастье. Так что с наступлением вечера он отправился в церковь Святого Фомы к падре Эчаваррии, полагая, что двое мужчин, обменявшихся оскорблениями, могут с той же легкостью обменяться извинениями, но в церкви никого не оказалось.

Или почти никого.

На скамье в заднем ряду лежал тюк или то, что мой отец, ослепленный внезапной сменой света и темноты, принял, пока его сетчатка со всеми своими колбочками и палочками привыкала к полумраку, за тюк. Пройдя вперед, к пресвитерию, проникнув дальше, на уже запретную для него территорию, отыскав дверь приходского дома, спустившись по двум истертым ступенькам, благоразумно и учтиво постучав дважды, он вернулся, выбрал место на случайной скамье, такое, чтобы видна была позолота в алтаре, и стал ждать, хоть и не вполне понимал, какими словами сможет переубедить фанатичного противника. И услышал:

– Это он.

Отец обернулся и заметил, что тюк разделен надвое. Одна половина, оказавшаяся фигурой в сутане (не падре Эчаваррией), уже выходила из церкви, и он видел только спину, а вторая, человек в руане и шляпе, смахивавший на огромный колокол с ногами, двинулась по проходу к алтарю. Отец догадался, что из-под соломенной шляпы, из черного пространства, в котором скоро проступят черты лица, его пристально рассматривают. Он огляделся. С картины за ним следил бородатый мужчина, погрузивший указательный палец (покрытый кожей и плотью, в отличие от пальца на мертвой руке китайца) в открытую рану Христа. На другой картине был мужчина с крыльями и женщина, отмечающая какое-то место в книге столь же плотским пальцем: отец узнал сцену Благовещения, но ангел не походил на китайца. Никто не собирался прийти ему на помощь; человек в руане тем временем бесшумно приближался, словно плыл по намасленной поверхности. Отец увидел его сандалии, закатанные штаны и под краем руаны грязное лезвие ножа.

Оба молчали. Отец понимал, что не может убить врага здесь – не потому что в свои тридцать четыре еще никого не убивал (когда-то да приходится начинать, а пистолетом он владел не хуже любого другого), а потому что в отсутствие свидетелей это было все равно что подписать себе приговор. Люди должны видеть: его вынудили, на него напали, заставили его защищаться. Он встал и пошел по боковому проходу к паперти; человек в руане не бросился к нему, но

развернулся и тоже зашагал обратно по центральному проходу: так они и шли параллельно, скамья за скамьей, и мой отец думал, что будет делать, когда скамьи кончатся. Он быстро считал их в уме: шесть скамей, пять, четыре.

Три скамьи.

Две.

Одна.

Отец положил руку в карман и взвел курок. В дверях церкви параллельные линии начали сходиться, человек откинул край руаны и отвел руку с ножом назад. Отец поднял пистолет, прицелился в центр груди, подумал о печальных последствиях того, что собирался вот-вот совершить: подумал о любопытных, которые сбегутся в церковь на звук выстрела, подумал о суде, который признает его виновным в преднамеренном убийстве по свидетельству этих любопытных, подумал о моем деде, пронзенном штыком, и о китайце, пронзенном бамбуковой палкой, подумал о роте, которая поставит его к стенке и расстреляет, и сказал себе, что не создан для тюрьмы и эшафота, что убить нападающего – дело чести, но следующую пулю нужно будет направить себе в грудь.

И тогда он выстрелил.

«И тогда я выстрелил», – рассказывал мне отец.

Но выстрела не услышал, точнее, ему показалось, что от его выстрела пошло оглушительное эхо, неведомый миру грохот: это с соседней площади Боливара долетел гром множества разом разрядившихся орудий. Было за полночь, наступило 17 апреля, и почтенный генерал Хосе Мария Мело только что совершил военный переворот и объявил себя диктатором несчастной сбитой с толку республики.

Все верно: Ангел Истории спас моего отца, хоть и, как мы увидим, ненадолго, просто заменив одного врага другим. Отец выстрелил, но выстрела никто не услышал. Когда он вышел на улицу, все двери были заперты, все балконы пусты, пахло порохом и конским навозом, вдали слышались крики, стук каблуков по булыжной мостовой и, разумеется, настойчивые выстрелы. «Я сразу понял. Этот гул означал гражданскую войну», – говорил мне отец тоном провидца... Он любил примерить на себя эту роль и за время нашей жизни вместе (недолгой) часто клал мне руку на плечо, смотрел на меня, торжественно подняв бровь, и рассказывал, как предсказал то, предугадал се. Про какое-нибудь событие, в котором участвовал косвенно, как свидетель, он говорил: «Давно было понятно, чем это кончится». Или: «Уж не знаю, куда они глядели». Таков был мой отец, человек, которого к определенному возрасту так помотали Великие События – иногда он выходил из них невредимым, чаще нет, – что он развил в себе любопытный механизм защиты: предсказывать то, что вот уже много лет как произошло.

Но позвольте мне небольшое замечание, отступление в скобках, так сказать. Я всегда считал, что в ту ночь история моей страны доказала: у нее есть чувство юмора. Вот я упомянул Великое Событие. Беру лупу и рассматриваю его вблизи. И что я вижу? Чему обязан мой отец своей неожиданной безнаказанностью? Перечислим быстренько факты: январским вечером генерал Мело в сильном подпитии покидает офицерскую пирушку и на площади Сантандера, неподалеку от своей казармы, натывается на капрала по фамилии Кирос, несчастного рассеянного юношу, оказавшегося в такой час на улице без увольнительной. Генерал как полагается отчитывает его, капрал выходит из себя, отвечает дерзко, и Мело не находит ничего лучшего, чем выхватить саблю и одним ударом срубить бедняге голову. Огромный скандал в боготинском обществе, громкие протесты против военщины и насилия. Прокурор обвиняет, судья вот-вот выдаст ордер на арест. Мело с безупречной логикой рассуждает: лучшая защита – это даже не нападение, а диктатура. Под его командованием – целая армия ветеранов, и он умело пользуется ею в своих целях. Можно ли его за это упрекать?

Впрочем, признаю: все это – не более чем дешевые слухи, типичные побасенки, – наш национальный спорт, – но *saveat emptor*³, а я уж буду рассказывать как хочу. Согласно другим версиям, капрал Кирос поздно возвращается в казарму после уличной потасовки и к моменту встречи с Мело он уже ранен; некоторые утверждают даже, будто на смертном одре Кирос узнает, какие обвинения предъявлены генералу, и освобождает его от всякой ответственности. (Не правда ли, красивая история? Столько в ней этакой мистики – «учитель и ученик», «наставник и протеже». Рыцарская версия – моему отцу она точно нравилась.) Но вне зависимости от различных объяснений один факт остается неопровержимым: гладко причесанный – будто корова языком лизнула – генерал Мело, смахивающий на Мону Лизу с двойным подбородком, стал инструментом, который история избрала, чтобы неистово высмеять судьбу наших юных республик, не доведенных до ума изобретений, навечно оставшихся без патента. Мой отец убил человека, но убийство кануло в забвение, когда другой человек, стремясь избежать грозящего ему, словно простому смертному, заключения, решил штурмом взять то великое, о чем всякий колумбиец говорит с гордостью: Свободу, Демократию, Государственные институты. И Ангел Истории, сидящий в партере, хохотал так, что свалился с кресла и уронил свой фригийский колпак.

Господа присяжные читатели, я не знаю, кто первым сравнил историю с театром (мне это право точно не принадлежит), но могу утверждать одно: этот прозорливец не был знаком с нашим колумбийским трагикомическим сюжетом, пьесой посредственных драматургов, сооружением криворуких сценографов, детищем нечистоплотных импресарио. Колумбия – пьеса в пяти актах, которую кто-то попытался написать классическим стихом, а получилась грубая проза, представленная переигрывающими актерами с отвратительной дикцией. Так вот, я возвращаюсь в наш маленький театрик (и еще не раз вернусь), к очередной сцене: двери и балконы заперты на засовы, кварталы вокруг Правительственного дворца призрачно пусты. Никто не слышал выстрела, прогремевшего в холодных каменных стенах, никто не видел, как мой отец выходит из церкви Святого Фомы, как он, словно тень, мчится по улицам, как в столь поздний час заходит в дом с еще не остывшим пистолетом. Маленькое происшествие оказалось стерто Великим Событием: крохотную смерть обыкновенного жителя квартала Эхипто затмили грядущие Неисчислимые Потери, каковым покровительствует Святая Дева-Война. Но, как я уже сказал, мой отец всего лишь сменил противника: преследователь от церкви был уничтожен, зато теперь за дело взялись военные. В новой Боготе, где заправлял Мело с друзьями-мятежниками, таких радикалов, как мой отец, боялись за недюжинный талант к организации беспорядков – не зря те посвящали долгие годы изучению революций и политических смут, – и не прошло и суток с той минуты, когда человек в руане, а точнее его труп, рухнул на пол церкви Святого Фомы, как по всему городу начались аресты. К радикалам, студентам и членам Конгресса являлись вооруженные и не слишком любезные гости – люди Мело; темницы полнились; многие вожаки опасались за свою жизнь.

Отцу об этом сообщили не его товарищи. Некий лейтенант предательской армии пришел к нему ночью и разбудил ударами приклада об оконную раму. «Тут я и подумал, что конец мне настал», – рассказывал отец много лет спустя. Но оказалось совсем не так: на лице лейтенанта читались разом гордость и вина. Отец покорно отпер дверь, но тот не стал заходить. Еще до рассвета, сказал он, прибудет отряд и арестует отца.

– Откуда вы знаете?

– Знаю, потому что отрядом командую я, – сказал лейтенант. – Я сам и отдал этот приказ. И, сделав масонское приветствие, исчез.

Только тогда отец понял, кто это был: один из членов «Звезды Текендамы».

³ Пусть покупатель остерегается (*лат.*).

Так что, собрав самое необходимое, в частности злосчастный пистолет и костлявую длань, отец укрылся в типографии братьев Акоста. И обнаружил, что многим его товарищам пришла в голову та же мысль: новая оппозиция уже начала обдумывать, как вернуть страну в русло демократии. Раздавались крики: «Смерть тирану!» (Скорее благоразумный шепот, потому что патрули тревожить раньше времени тоже не годилось.) В ту ночь среди тискальщиков и переплетчиков, которые только изображали беспристрастность, среди этих железных людей, таких мирных с виду, но способных развернуть целую революцию, если потребуется, в окружении сотен или даже тысяч деревянных ящичков, содержавших, по-видимому, все возможные протесты, подстрекательства, угрозы, манифесты, ответные манифесты, обвинения, разоблачения и опровержения политического мира, собрались вожаки радикалов, чтобы вместе выйти из захваченной столицы и спланировать с вооруженными силами в провинциях кампанию по возвращению власти. Отца приняли с радостью и совершенно буднично заявили, что намерены назначить его командовать полком. Тот присоединился к повстанцам, отчасти потому что в компании чувствовал себя защищенным, отчасти потому что идеалисты всегда с трепетом относятся к идее товарищества, но в глубине души он уже принял решение, и оно не менялось с самого начала его пути.

Здесь я ускорюсь. Прежде я посвящал несколько страниц событиям одного дня, а теперь моя история требует уместить в пару строк события многих месяцев. В сопровождении слуги, под покровом непроглядной равнинной ночи до зубов вооруженные защитники государственности выехали из Боготы. По склону горы Гваделупе они поднялись к пустынным плоскогорьям, где даже суровые эспелеции⁴ умирали от холода, а потом спустились в теплые края на купленных по пути своенравных и прожорливых мулах, прибыли на берег реки Магдалена и спустя восемь часов плавания на утлом каноэ оказались в Онде, которую и объявили ставкой сопротивления. В последующие месяцы мой отец набирал людей, добывал оружие, отправлял солдат в пикеты, был добровольцем в войсках генерала Мануэля Марии Франко, потерпел поражение в Сипакира, слышал, как генерал Эррера предсказал собственную смерть, и видел, как это пророчество сбылось, пытался собрать другое временное правительство в Ибаге, но неудачно, созывал распущенный диктатором конгресс, лично составил батальон из молодых людей, покинувших Боготу, или Санта-Фе, и присоединил его к войскам генерала Лопеса, в решающие дни получал запоздалые, но радостные известия о победах в Босе, Лас-Крусес и Лос-Эхидос, узнал, что третьего декабря вся девятитысячная армия собирается вступить в Санта-Фе, или Боготу, и пока его товарищи праздновали, поедая форель по-дьявольски и распивая такое количество бренди, какого он и не видел никогда, решил, что отпразднует с ними, выпьет свой бренди и доест свою форель, а потом скажет им: он не станет участвовать в триумфальном шествии, не станет входить в возвращенный город.

Да, объяснит он, ему не нужно возвращаться, потому что город, хоть и восстановлен для демократии, для него утрачен навсегда. Он больше не будет там жить, ибо тамошняя жизнь кажется ему завершенной, принадлежащей кому-то другому. В Боготе он убил, в Боготе прятался, в Боготе у него ничего не осталось. Но они, разумеется, не поймут, а те, кто поймет, откажутся верить или попытаются разубедить его словами вроде «город твоих предков», «город твоей борьбы» или «город, где ты увидел свет», и тогда ему придется показать им в качестве неопровержимого и достоверного доказательства своего нового места назначения руку мертвого китайца с пальцем, неизменно, словно по волшебству, указывающим на провинцию Панама.

⁴ Эспелеция, или фрайлехон, – древовидное растение с толстым стволом без ветвей, произрастающее в Венесуэле, Колумбии и Эквадоре. – *Примеч. ред.*

II

Признания Антони де Нарваэс

В девять часов утра 17 декабря, пока в Боготе даровали помилование генералу Мело, в речном порту Онды мой отец садился на английский пароход «Исабель», принадлежавший компании Джона Дистона Поулса и совершавший регулярные рейсы между центром страны и Карибским побережьем. Через восемь дней, встретив Рождество на борту, он прибыл в панамский порт Колон, который, хоть в ту пору ему не исполнилось еще и трех лет от роду, уже успел пополнить список шизофренических мест. Основатели решили назвать его в честь дона Христофора, рассеянного генуэзца, по чистой случайности упершегося в карибский островок, но вошедшего в историю как первооткрыватель континента; однако строившие железную дорогу гринго соответствующего указа не читали, или читали, да не поняли – наверняка их испанский был не так хорош, как им самим казалось, – и дали городу другое имя: Эспинуолл. Так что Колон был Колон для местных, Эспинуолл для гринго и Колон-Эспинуолл для всех остальных (дух соглашательства свойствен Латинской Америке). И вот в этот город без прошлого, город зачаточный и двусмысленный, прибыл Мигель Альтамирано.

Но прежде чем рассказать о прибытии и обо всем, что оно повлекло за собой, я желаю и обязан поведать об одной супружеской паре, без чьего участия, могу вас заверить, я не был бы тем, кем являюсь. В самом буквальном, как вы увидите, смысле.

Примерно в 1835 году инженер Уильям Бекман (1801, Новый Орлеан – 1855, Онда) поднялся по реке Магдалена, задумав частное дело с целью коммерческой выгоды, и несколько месяцев спустя основал компанию по транспортировке грузов на лодках и сампанах. Вскоре обитатели местных портов привыкли к ежедневному зрелищу: белокурый и белокожий – почти альбинос – Бекман грузил на каное десять тонн товара, укрывал деревянные ящики коровьими шкурами, сам укладывался сверху, под пальмовыми листьями, чтобы не сгореть – от этого зависела его жизнь – и так спускался и поднимался по реке, от Онды до Буэнависты, от Наре до Пуэрто-Беррио. Спустя пять довольно успешных лет, за которые он успел подмять под себя торговлю кофе и какао в приречных провинциях, инженер Бекман, верный духу авантюризма, решил вложить нажитое за недолгий срок в рискованное предприятие дона Франсиско Монтотойи, в те дни как раз заказывавшего в Англии подходящий для Магдалены пароход. «Юнион», выстроенный на верфях Английской королевской почтовой компании, вошел в реку в январе 1842 года и поднялся до Ла-Дорады, в шести лигах от Онды, где алькальды и военные встретили его с почестями, достойными министра. После чего нагрузили ящиками с табаком – «всю Британию пристрастить хватило бы», рассказывал Бекман, вспоминая те годы, – и «Юнион» без приключений добрался до устья реки Ла-Мьель... где, как и остальные персонажи этой книги, встретился с беспардонным, навязчивым, нахальным Ангелом Истории. Бекман даже не знал, что очередная гражданская война («Это все та же или новая?» – спросил он) дошла до тамошних мест, но ему пришлось смириться с очевидным фактом, поскольку за считанные часы «Юнион» оказался втянут в бой с несколькими крупными челнами, неизвестно какой стороне принадлежащими; снарядам ему пробило котел, и десятки тонн табака, а заодно и весь капитал инженера, пошли ко дну, хотя причина нападения так и осталась неизвестной.

Я сказал «пошли ко дну». Это не совсем точно: сам «Юнион» после обстрела успел прижаться к берегу и не затонул полностью. Годы спустя две его трубы все еще были видны пассажирам речных пароходов: они возвышались над желтыми водами, словно забытые идола острова Пасхи, словно затейливые деревянные менгиры. Отец наверняка видел их; видел и я, когда пришел мой черед... время от времени видел их и инженер Бекман, причем всю оставшуюся жизнь, потому что в Новый Орлеан он возвращаться не стал. Ко дню полузатопления он уже влюбился, сделал предложение – означавшее для него не новую авантюру, но, напротив,

остепенение – и женился в первые дни своего банкротства, так что медовый месяц новобрачных был скромным и прошел на другом берегу реки. Это стало большим разочарованием для некоторых представителей семейства (приличного) невесты – боготинцев со скудными достатком и непомерным тщеславием, способных затмить любого Растиньяка, подолгу бывавших на асьенде в Онде и не веривших своему счастью с тех пор, как богатый гринго положил голубой глаз под белой бровью на главную бунтарку в семье. Кто же была эта счастливица? Двадцатилетняя Антония де Нарваэс, любительница побегать от быков на праздниках в честь святого покровителя города, временами не чуждающаяся азартных игр и придерживающаяся цинических убеждений.

Что нам известно об Антонии де Нарваэс? Она мечтала поехать в Париж, но не чтобы познакомиться с Флорой Тристан, а чтобы читать маркиза де Сада в оригинале. Ненадолго стала знаменитостью в столичных салонах, публично принизив подвиг Поликарпы Салаварреты («Умирать за родину – удел бездельников», – сказала она). Воспользовалась немногими семейными связями, чтобы попасть в Правительственный дворец: ее впустили и через десять минут выпроводили, потому что она спросила у какого-то епископа, где та кровать, на которой Мануэла Саэнс, самая прославленная любовница в колумбийской истории, имела Освободителя.

Господа присяжные читатели, я отсюда чувствую, как вы сбиты с толку, и готов вывести вас из сомнений. Позвольте ли вы мне кратко обозреть этот важнейший исторический момент? Донья Мануэла Саэнс, уроженка Кито, бросила своего законного (и зануднейшего) супруга, некоего Джеймса, или Хайме, Торна; в 1822 году Освободитель Симон Боливар триумфально входит в Кито, а чуть позже – так же триумфально в Мануэлу. Это необыкновенная женщина: она великолепно сидит в седле и управляет с оружием, и в ходе войн за независимость Боливару выпадает возможность убедиться в этом лично – и седлать, и разряжать у нее получается превосходно. Пессимистически размышляя об общественном осуждении, Боливар пишет ей: «Ничто в мире, которым правят невинность и честь, не сможет соединить нас». В ответ Мануэла без предупреждения является к нему в дом и одной силой бедер показывает, что она думает про то, кто чем правит. Двадцать восьмого сентября 1825 года, пока Освободитель и Освободительница освобождают друг друга от одежды на президентском ложе едва проросшей Колумбии, группа завистливых заговорщиков – увешанных орденами генералов, чьи жены не седлают и не разряжают, – решают, что этот коитус останется интERRUPTУС: они пытаются убить Боливара. При помощи Мануэлы Симон выпрыгивает в окно и прячется под мостом. Именно на это зловещее сентябрьское ложе, будто на реликвию, хотела взглянуть Антония де Нарваэс; впрочем, откровенно говоря, реликвией кровать Освободителей и являлась.

А в декабре 1854 года, в тот вечер, когда мой отец отмечает форелью и бренди победу демократической армии над диктатурой Мело, Антония де Нарваэс рассказывает эту историю. Да, вот так запросто. Вспоминает про случай с кроватью и рассказывает.

К тому времени Антония уже двенадцать лет была замужем за сеньором Уильямом Бекманом – и на столько же он был старше супруги. После крушения «Юниона» тесть с тещей отдали Бекману часть их асьенды – две фанегады на берегу,⁵ – и он выстроил там дом с белеными стенами и семью комнатами, где принимал редких гостей: пассажиров и даже членов экипажа с очередного американского судна, если те хотели поговорить на родном языке, пусть и всего один вечер. Дом был окружен банановой рощей и полем маниока, но основную прибыль, кормившую супругов, приносило дело по продаже дров парходам, одно из самых успешных на всей реке Магдалена. Вот чем были заполнены дни Антонии де Нарваэс де Бекман, женщины, которая в других краях и другой жизни сгорела бы на костре или, возможно, сколотила бы состояние эротическими романами, публикуемыми под псевдонимом: путешествующим по

⁵ *Фанегада* – национальная единица площади в Колумбии, равная 0,64 га. – *Примеч. ред.*

воде она давала кров и стол, а паровым котлам – поленья. Ах да: еще она слушала невыносимые песни, которые ее муж, влюбленный в доставшуюся ему природу, брал неизвестно откуда и распевал, сопровождая себя на разбитом банджо:

*In the wilds of fair Colombia, near the equinoctial line,
Where the summer lasts forever and the sultry sun doth shine,
There is a charming valley where the grass is always green,
Through which flow the rapid waters of the Muddy Magdalene⁶.*

Моему отцу тоже посчастливилось услышать эту песню, он тоже узнал из нее, что Колумбия – земля равноденствия, где лето вечно (автор, видимо, никогда не бывал в Боготе), а про солнце говорится, что оно душное, и тут же подчеркивается, что оно светит. Однако мы отвлеклись. Отец никогда не рассказывал, выучил ли он эту песню в ночь победы, но музыка тогда, несомненно, звучала: бренди, банджо, баллады. Дом Бекмана, естественное пристанище иноземцев, место встречи людей заезжих, принимал победителей. В ту ночь пьяные солдаты вышли на пляж Караколи и соорудили с разрешения хозяина (и нарядили в его рубаху и штаны) набитое соломой чучело, изображавшее поверженного диктатора. Не знаю, сколько раз я представлял себе последовавшие за этим часы. Солдаты начинают падать на влажный речной песок, сраженные местной чичей – бренди полагается только офицерам, это вопрос иерархии, – хозяйка и два-три гостя из высших классов, в том числе мой отец, тушат костер, в котором покоятся обугленные останки деспота, и возвращаются в дом. Прислуга подает холодную агуапанелу; беседа начинает вращаться вокруг столичной жизни присутствующих. И, пока Мануэла Саэнс лежит больная в далеком-далеком перуанском городе, Антония де Нарваэс под всеобщий хохот рассказывает, как она ходила посмотреть кровать, на которой Мануэла Саэнс любила Боливар. В эту минуту мой отец словно видит ее впервые, и она, увиденная, словно впервые, видит моего отца. Идеалист и циничная особа весь вечер вместе ели и выпивали, но лишь когда речь зашла о любовнице Освободителя, обнаружили существование друг друга. Кто-то из них вспомнил романс, успевший распространиться по юной республике:

*Боливар, клинок обнажен,
зовет: «За мной, Мануэла!»
«Охотно, пускай его в дело!
Уж смазаны ножны, Симон!»*

Словно сургучная печать скрепила тайное послание. Я не могу утверждать, что Антония и мой отец залились краской, догадавшись, какой символический (сладострастно символический) характер обрели для них фигуры Мануэлы и Симона, да и не желаю брать на себя этот труд; я не стану утомлять вас, господа присяжные читатели, описанием того, как именно выглядел этот своеобразный танец, это полное слияние, которое может произойти между двумя людьми, даже если ни один ни на секунду не оторвал ягодиц от стула. Просто знайте, что в последние часы перед тем, как они разойдутся по своим комнатам, над массивным ореховым столом порхают остроумные замечания (со стороны мужчины), звонкий смех (с противоположной стороны), очаровательные колкости – словом, человечья версия собачьего обнюхивания под хвостами. Сеньор Бекман, не читавший покуда «Опасных связей», этих цивилизованных ритуалов случки не замечает.

И все из-за пустячной истории о Мануэле Саэнс.

⁶ В дебрях прекрасной Колумбии, близ небесной линии равноденствия, где лето вечно и светит душное солнце, есть очаровательная долина, где трава всегда зелена, и через нее текут быстрые воды Иистой Магдалены. (Англ.)

В ту ночь и в последующие мой отец с типичной для прогрессистов склонностью находить великую личность и правое дело там, где нет ни того, ни другого, думает о том, что видел, а видел он умную, проницательную, даже хитроватую женщину, которая заслуживает лучшей судьбы. Но он тоже человек, несмотря на все, что себе навнушал, а потому размышляет и о физической, потенциально осязаемой стороне дела: о женщине с черными бровями, тонкими, но густыми, словно... О лице в обрамлении золотых сережек, принадлежавших... И о затмевающем все это хлопковом платке у нее на груди, высокой, словно... Читатель уже понял: мой отец не был прирожденным повествователем вроде меня, а потому не следует требовать от него искусства в выборе лучшего уподобления для бровей или груди или точности в описании происхождения скромных фамильных драгоценностей, но мне приятно подтвердить, что он никогда не забывал тот простой белый платок, который Антония де Нарваэс всегда накидывала по вечерам. Днем в Онде стоит неумолимый зной, но сразу после заката температура резко падает, и не позаботившихся о тепле ждут простуды и ревматизм. Подобными белыми платками здешние жители спасаются от подстерегающих в тропиках неприятностей: желтой и прочей лихорадки, простого жара. Местных эти хвори редко прихватывают (долгая оседлость способствует иммунитету), а вот тех, кто приехал из столицы, очень даже часто, едва ли не ежедневно, и гостиницы, поскольку врача в тамошних краях можно дожидаться по нескольку дней, обычно оснащены для лечения легких случаев. И однажды на закате, пока по всей Онде христиане заканчивают возносить вечерние молитвы, мой отец, не читавший «Мнимого больного», чувствует, что голова у него отяжелела.

И тут, к нашему удивлению (несильному, впрочем), версии расходятся. По утверждению отца, он к тому времени вот уже два дня как перебрался из дома Бекмана на пароход «Исабель», который простоял в порту дольше, чем требовалось для пополнения запасов (дров, кофе, свежей рыбы), из-за поломки в котлах. По утверждению Антонии де Нарваэс, никакой поломки не было, отец еще жил у Бекмана и в тот день нанял двух носильщиков переправить вещи на «Исабель», но на борту переночевать не успел. По утверждению отца, в десять часов вечера он заплатил мальчишке в красных штанах, сыну местных рыбаков, чтобы тот сходил в гостиницу гринго и передал хозяйке, что на борту человек с жаром. По утверждению Антонии де Нарваэс, известие ей принесли те же носильщики, лукаво переглядываясь между собой и поигрывая половиной реала, доставшейся им на чай. По крайней мере, стороны единодушны относительно факта, имевшего достоверные последствия, неопровержимые с исторической точки зрения.

Вооруженная докторским саквояжем Антония де Нарваэс поднялась на борт «Исабели» и среди двухсот пятидесяти шести кают нашла, не спрашивая, каюту больного: войдя, она обнаружила его, укрытого одеялом, на парусиновой койке, а не на удобной просторной кровати. Она положила руку ему на лоб и не почувствовала никакого жара, но все же достала из саквояжа склянку хинина и сказала отцу, да, температура есть, и велела принимать по пять гранул с кофе по утрам. Отец спросил, не показаны ли в подобных случаях растирания водой и спиртом. Антония де Нарваэс кивнула, вынула из саквояжа еще две склянки, закатала рукава, приказала больному снять рубашку, и для отца запах медицинского спирта навсегда остался связан с той минутой, когда Антония де Нарваэс еще влажными руками откинула одеяло, развязала и сбросила с шеи белый платок, слегка порнографическим движением приподняла юбку и уселась верхом на его шерстяные панталоны.

Было 16 декабря, часы показывали одиннадцать вечера; прошло сорок девять лет – жаль, что история с ее любовью к симметрии не подарила нам круглые полвека, – с того момента, как Онда, некогда важный узел колониальной торговли и избалованное дитя испанцев, оказалась разрушена землетрясением в одиннадцать часов вечера 16 июня 1805 года. В ту пору еще можно было видеть руины; неподалеку от «Иса-бели» находились аркады монастырей, углы каменной кладки, бывшие некогда целыми стенами, и я воображаю, ибо никакие правила прав-

доподобия не запрещают, как неистовые сотрясения койки напомнили любовникам об этих руинах. Знаю, знаю: даже если правдоподобие смолчит, хороший вкус взбрыкнет и попеняет мне на такую уступку сентиментальщине. Но пренебрежем в кои веки раз его точкой зрения: каждый имеет право на минуту безвкусицы в жизни, и вот она, моя минута... Начиная с нее я телесно присутствую в своей истории. Хотя, пожалуй, «телесно» – это пока преувеличение...

На борту «Исабели» мой отец и Антония де Нарваэс воспроизводят в 1854 году землетрясение 1805-го; на борту Антонии де Нарваэс биология, предательская биология, начинает творить свое темное дело, мутить жидкости в перепадах температур, а у себя в комнате, на борту кровати под муслиновым пологом, сеньор Бекман, не читавший покуда «Мадам Бовари», довольно вздыхает, не имея ни малейших подозрений, закрывает глаза, чтобы лучше слышать речную тишь и машинально начинает мурлыкать:

*The forest on your bank by the flood and earthquake torn
Is madly on your bosom to the mighty Ocean borne.
May you still roll for ages and your grass be always green
And your waters aye be cool and sweet, oh Muddy Magdalene⁷.*

Ах, прибрежные леса, прохладные сладкие воды Мутной Магдалены... Сегодня я пишу возле Темзы, мысленно измеряю расстояние между двумя реками, и меня изумляет, что в это расстояние укладывается вся моя жизнь. Дни мои завершаются, дорогая Элоиса, на английской земле. И я чувствую себя вправе спросить: разве не закономерно, что именно английский пароход стал местом моего зачатия? Круг замыкается, змея кусает себя за хвост, все эти общие места.

Написанное выше предназначено самым проницательным читателям, тем, кто ценит искусство аллюзии и намек. Для тугодумов напишу просто: да, вы правильно поняли. Антония де Нарваэс – моя мать.

Да, да, да: все правильно, так и есть.

Я, Хосе Альтамирано, – бастард.

После свидания в каюте «Исабели», после выдуманной лихорадки и невыдуманных оргазмов между моим отцом и Антонией де Нарваэс завязалась очень короткая переписка, важнейшие образцы которой я должен представить здесь как в качестве довода, то бишь суждения, призванного убедить собеседника, так и в качестве поворота сюжета, то бишь строения моего рассказа. Но сперва мне нужно сделать несколько уточнений. Проведенная мною работа семейного археолога – я уже слышу те же возражения, что слышал всю жизнь: у меня-де никогда не было настоящей семьи, я не имею права на это благородное существование, – основывалась подчас на вещественных доказательствах, и поэтому вы, господа присяжные читатели, берете на себя (и еще не раз будете брать на протяжении повествования) неудобные обязанности судьи.

Журналистика – правосудие наших дней. Так вот, я заявляю, что все документы, приведенные ниже, – подлинные. Я, правда, колумбиец, а все колумбийцы лгуны, но должен еще раз подчеркнуть (и тут я кладу правую руку на Библию или заменяющую ее книгу): изложенное далее есть правда, только правда и ничего, кроме правды. Никто, надеюсь, не станет возражать, если я прокомментирую пару фрагментов, которые без контекста могут показаться непонятными. Но, копируя письма, я не вставил ни единого слова, не сместил ни единого акцента, не исказил ни единого смысла. So help me God⁸.

⁷ Лес, выкорчеванный с твоих берегов паводком и землетрясением, Несется по твоему лону к могучему Океану. Так теки же вечно, и да будет всегда зелена твоя трава И прохладны и сладки твои воды, о Илистая Магдалена! (Англ.)

⁸ И да поможет мне Бог (англ.).

Письмо Мигеля Альтамирано к Антонию де Нарваэс,

Барранкилья, без даты

Вам это, вероятно, покажется смешно, но я непрестанно вас вспоминаю. И сокрушаюсь о вас, ведь вы были вынуждены вернуться к тому, кого не любите, в то время как я неумолимо отдаляюсь от той, кого боготворю⁹. <...> Вчера мы высадились; сегодня пересечем песчаную равнину, отделяющую нас от Сальгара, где ждет пароход, который доставит нас к месту назначения. Вид Великого Атлантического Океана, пути в мое будущее, вызывает у меня столь желанное умиротворение. <...> Со мною едет симпатичный иностранец, он не знает нашего языка, но выказывает охоту выучить. Он показал мне свой путевой дневник и в нем вырезки из *Panama Star*, касающиеся, как я понял, продвижения железной дороги. В ответ я пытался втолковать ему, что эта металлическая гусеница, способная пядь за пядью покорить непроходимые джунгли, – предмет и моего глубочайшего восхищения, но не знаю, удалось ли мне передать свои чувства.

Письмо Антонию де Нарваэс к Мигелю Альтамирано,

Без места, Рождество

Ваши слова чересчур громки, а ваша взволнованность неуместна. Причины нашей встречи, сеньор, до сих пор неподвластны моему пониманию, да я и не собираюсь над ними раздумывать; я ни в чем не раскаиваюсь, но какой прок изображать интерес к тому, что есть всего лишь случайность? Наша судьба, кажется, не сулит нам дальнейших встреч, и уверяю вас, что со своей стороны сделаю все, чтобы их избежать <...> Моя жизнь пройдет здесь; здесь, подле мужа, мне суждено остаться. Я не могу допустить, чтобы вы в приступе невероятной гордыни возомнили, будто знаете, где мое сердце. Вынуждена напомнить, что мы с вами, дон Мигель, несмотря на злосчастный случай, едва знакомы. Мои слова жестоки? Понимайте как угодно.

⁹ Читателю будет бесполезно обратиться к письму Симона Боливара, адресованному Мануэле Саэнс (от 20 апреля 1825 года). Тексты удивительно схожи. Может, слова Освободителя засели в сознании моего отца? Или он намеренно желал установить с Антонией де Нарваэс не только плотскую, но и литературную связь? Думал ли, что Антония де Нарваэс поймет аллюзию? Этого нам никогда не узнать.

Письмо Мигеля Альтамирано к Антонию де Нарваэс

Колон, 29 января 1855 года

Наконец-то это случилось: железная дорога запущена, и мне посчастливилось стать свидетелем огромного шага к Прогрессу. Церемония, по моему скромному мнению, была не такой пышной, как того требовало событие, но на ней в полном составе присутствовал Народ, неофициальные представители всего Человечества, и на улицах слышались все языки, созданные человеческим гением¹⁰ <...> В толпе, истинном Ковчеге рас, я заметил одного из бывших соратников Мело, лейтенанта, чье имя не стоит здесь записывать. Его выслали в Панаму в наказание за участие в военном перевороте, да, том самом, последствия которого я по мере своих скромных способностей помогал обратить. Когда он рассказал мне об этом, я, признаюсь, опешил. Панама – кара для мятежников? Перешеек, Сосредоточие Грядущего, стал местом ссылки врагов демократии? Я не нашелся что возразить. Пришлось принять очевидное: то, что я считаю одной из величайших наград, выпавших мне, хоть ничем в жизни я ее не заслужил, для моего правительства – способ избавляться от преступников, хуже которого разве что эшафот. <...> Ваши слова, сеньора, – кинжалы, вонзающиеся мне в сердце. Презирайте меня, но не пренебрегайте мною, оскорбляйте, но не обдавайте холодом. Я с той ночи остаюсь вашим преданным слугой и не теряю надежд на нашу следующую встречу. <...> Климат Перешейка великолепен. Небеса чисты, воздух сладок. Репутация его, могу теперь утверждать, чудовищно несправедлива.

Письмо Мигеля Альтамирано к Антонию де Нарваэс

Колон, 1 апреля 1855 года

Климат убийственный. Дождь льет не переставая, дома затоплены; реки выходят из берегов, и люди ночуют в кронах деревьев. Над стоялой водой вьются целые рои moskitov, подобных саранче вавилонской; за вагонами нужно ухаживать, словно за грудными детьми, чтобы их не пожрала сырость. На Перешейке царит чума, больные бродят по городу: одни выпрашивают стакан воды сбить жар, другие ковыляют к дверям госпиталя, уповая на чудо, которое спасет им жизнь <...> Вот уже несколько дней прошло с тех пор, как нашли труп лейтенанта Кампильо; теперь писать его имя законно, но от этого не легче¹¹ <...> Полагаю, ваше ответное письмо затерялось; если я не прав,

¹⁰ В переписке отца, как и в дневнике, который он начал вести позднее и из которого я, если осмелюсь, процитирую несколько отрывков, часты восторженные упоминания всего, касающегося *столкновения культур, плавильного котла цивилизаций*. Меня даже удивляет, что в письме он не говорит с энтузиазмом о том «папьяменто», что использовался в Панаме. В других документах эта смесь наречий фигурирует как «единственный язык цивилизованного человека», «инструмент мира между народами» и даже, в минуты особенной велеречивости, «победитель Вавилона».

¹¹ Отец избегает подробностей смерти лейтенанта. Возможно, он рассказал о них в предыдущем письме, которое не

то с вашей стороны это недопустимо. Сама судьба, сеньора, словно решила запретить мне забвение, ибо на моем пути непрестанно встречаются гонцы памяти. Всякое утро местных жителей начинается со священного ритуала – кофе и хинина, защищающего их от призраков лихорадки; я сам перенял здоровые, по моему мнению, привычки тех, с кем часто общаюсь. Что же прикажете делать, если каждая крошечная гранула возвращает мне вкус той ночи? Что мне делать?!

Письмо Антонию де Нарваэс к Мигелю Альтамирано

Онда, 10 мая 1855 года

Не пишите мне, сеньор, и не ищите меня. Эта переписка закрыта, а то, что было между нами, забыто. Мой муж умер, и знайте, дон Мигель Альтамирано, что с этого дня я для вас тоже мертва¹².

Письмо Мигеля Альтамирано к Антонию де Нарваэс

Колон, 29 июля 1855 года

Я читаю ваше сухое послание, и лицо мое искажается изумлением. Вы и вправду думаете, будто я послушаюсь ваших приказов? Отдавая их, вы желаете испытать мои чувства? Любезная сеньора, вы ставите меня в невозможное положение, ведь повиноваться вам – значит разрушить мою любовь, а не повиноваться – значит пойти вам наперекор. <...> У вас нет причин сомневаться в моих словах: смерть мистера Уильяма Бекмана, честного человека и любимого приемного сына нашей родины, глубоко потрясла меня. Вы грешите скудословием, сеньора, и не знаю, будет ли с моей стороны благоразумно спросить об обстоятельствах трагедии на том же листке, где я выражаю вам самые искренние соболезнования <...> Я так хочу видеть вас снова... Но не решаюсь попросить вас воссоединиться со мной, хоть и думаю иногда, что именно это вас оскорбляет. Если я прав, прошу понять меня: здесь нет ни жен, ни детей. Этот край так нездоров, что мужчины предпочитают одиночество во все время пребывания на Перешейке. Они знают, поскольку научены опытом, что привезти сюда семью – значит обречь ее на смерть, все равно что воткнуть мачете в грудь всем близким¹³. Эти

сохранилось. Однако они широко известны: лейтенант Кампильо сошел с ума, углубился совершенно один в Дарьенскую сельву и не вернулся. Подозревали, что он пытался тайно вернуться в Боготу. Друзей у него не было, и его отсутствие долго никого не волновало. В марте снарядили поисковый отряд: труп нашли практически разложившимся, и причина смерти так и осталась неясной.

¹² В этом письме больше нет ничего интересного. Точнее, в этом письме вообще больше ничего нет.

¹³ Отец не упоминает о последовавшей как раз в те дни смерти иностранца с «Исабели». Фамилия его была Дженнингс, а имени я нигде не нашел. Дженнингс совершил ошибку и привез с собой молодую беременную жену, которая пережила его всего на полгода. После смерти мужа сеньора Дженнингс, также страдающая от лихорадки, поступила работать официанткой в казино скверного пошиба; там она подавала золотоискателям напитки руками столь бледными, что их было не отличить от рукавов блузки, а ее истощенные болезнью грудь и бедра не вызывали дерзких попыток даже со стороны пьяных игроков.

мужчины, прибывшие переправить от одного океана к другому золото из копей страны Калифорния, ищут мгновенного богатства и готовы поставить на кон свою жизнь, это правда, но не жизнь любимых – иначе к кому они возвратятся, набив кошелек золотыми песком? Нет, любезная сеньора, если нам суждено вновь увидеться, то в более гостеприимном краю. Поэтому я жду вашего зова; одно слово, и я примчусь. А пока, в ожидании минуты, когда вы даруете мне благодать своего присутствия,

*остаюсь вашим слугой,
Мигель Альтамирано*

Дорогая Элоиса, это письмо осталось без ответа.

Как и следующее.

И следующее.

Так заканчивается – по крайней мере, в нашей истории – переписка между людьми, которых со временем и под действием определенных обстоятельств я привык называть родителями. Читатель приведенных выше строк тщетно будет искать упоминание о беременности Антонии де Нарваэс, не говоря уже о рождении сына. Не скопированные мною письма тоже тщательно умалчивают о первых приступах тошноты, округлившемся животе и, разумеется, подробностях родов. Так что Мигель Альтамирано еще долго остается в неведении о том, что его сперма оказалась первого сорта и в глубине страны у него родился сын.

Дата моего появления на свет всегда оставалась небольшой домашней тайной. Мать праздновала мой день рождения и 20 июля, и 7 августа, и 12 сентября, а я сам, просто из чувства собственного достоинства, никогда его не отмечал. Что касается места, могу сказать следующее: в отличие от большинства людей, я знаю, где меня зачали, но не где родили. Однажды Антония де Нарваэс сказала (а позднее раскаялась в этом), что я родился в Санта-Фе-де-Богота, на огромной кровати, обитой недубленой кожей, рядом со стулом, на спинке которого был вырезан герб знатного семейства. Когда на нее накатывала грусть, моя мать отменяла эту версию: я родился посреди Мутной Магдалены, в бонго, плывшем из Онды в Ла-Дораду, среди тюков с табаком, на глазах у гребцов, напуганных видом ополоумевшей белой женщины с раскинутыми ногами. Но вероятнее всего, если смотреть в лицо очевидности, роды имели место на прибрежной суше предсказуемого города Онда, в той самой комнате гостиницы Бекмана, где хозяин, добряк, который мог бы стать мне отчимом, засунул себе в рот дуло ружья и умудрился спустить курок, узнав, что в набухшем животе – нечто, ему не принадлежащее.

Я всегда поражался, с каким удивительным хладнокровием моя мать пишет: «Мой муж умер», в то время как речь идет об ужасном самоубийстве, которое мучило ее десятилетиями и в котором она всегда считала себя отчасти виновной. Задолго до своей плачевной участи тропического рогоносца Бекман распорядился – все мы знаем, какой бывает последняя воля таких искателей приключений, – чтобы его похоронили в Muddy Magdalene, и однажды на расвете его тело вывезли уже не в бонго, а в сампане, на середину стремнины, и сбросили за борт, чтобы оно погрузилось в цветисто снабженные прилагательными воды из той невыносимой песни. С годами он станет главным героем страшных снов моего детства: на песчаный берег выносит укутанную в парусину мумию, наполовину сожранную рыбами, из ее простреленного затылка течет вода; она является наказать меня за то, что врал старшим, метал камни в птиц, ругался непотребными словами, а один раз оторвал крылья мухе и обрек ее ходить пешком. Белая фигура самоубийцы Бекмана, моего предполагаемого и покойного отца, была худшим кошмаром моих ночей, пока я впервые не прочел (а после перечитал множество раз) историю некоего капитана Ахава.

(Ум порождает ассоциации, которые перо не в силах передать. Сейчас я пишу и вспоминаю одну из последних историй, рассказанных мне отцом. Незадолго до смерти Мануэлы Сээнс в Пайте к ней явился полубезумный гринго, бывший в Перу проездом. Даже не сняв

широкополой шляпы, он выпалил, что пишет роман о китах. Можно ли где-нибудь здесь увидеть китов? Мануэла Саэнс не нашлась с ответом. Она скончалась 23 ноября 1856 года, думая не о Симоне Боливаре, а о белых китах неудачливого бедняги-романиста.)

Вот так, без точных координат, лишенный мест и дат, я начал свое существование. Неопределенность распространялась и на мое имя, и, дабы не утомлять вновь читателя повествовательным клише о поиске себя, о банальном *what's-in-a-name*¹⁴, ограничусь сообщением, что меня крестили – да, да, святой водой и все такое: мать, может, и была убежденной бунтаркой, но не желала, чтобы ее единственный ребенок оказался по ее вине в лимбе, – как Хосе Бекмана, сына сумасшедшего гринго, который покончил с собой в приступе тоски, не успев познакомиться с отпрыском, а позже, после пары признаний моей измучившейся матери, я превратился в Хосе де Нарваэса, безотцовщину. Все это, разумеется, было до того, как я добрался до фамилии, полагающейся мне по крови.

Так или иначе, я начал наконец жить, я начинаю жить на этих страницах, и рассказ отныне будет вестись от первого лица.

Это я рассказываю. Это я – тот, кто я есть. Я. Я. Я.

Теперь, представив письменный диалог, происходивший между моими родителями, я обязан заняться диалогом совсем иного рода: тем, что бывает между родственными душами, диалогом допфельгангеров. Я слышу перешептывания среди публики. Проницательные читатели, всегда идущие на шаг впереди повествователя, вы уже потихоньку догадываетесь, о чем пойдет речь, вы уже понимаете, что на мою жизнь начинает отбрасывать тень Джозеф Конрад.

Так оно и есть: сейчас, когда прошло время и я могу ясно обозреть факты, расставить их на карте автобиографии, я вижу, что переплетающиеся и параллельные линии связывали нас с самого моего рождения. Доказательство состоит в следующем: сколько бы я ни силился рассказать о своей жизни, я неизбежно рассказываю о жизни другого. Вследствие физического сходства, по утверждению экспертов, разделенные при рождении близнецы всегда чувствуют боли и огорчения друг друга, даже если они никогда не виделись и между ними океан; при сходстве метафизическом, которое меня и интересует, это происходит несколько по-иному, но все равно происходит. Несомненно, происходит. Конрад и Альтамирано, два воплощения одного Иосифа, две версии одной судьбы, могут подтвердить.

«Хватит уже философии, хватит абстракций! – требуют настроенные наиболее скептически. – Примеров! Мы хотим примеров!» Что ж, у меня их полные карманы, и нет ничего проще, чем представить некоторые, дабы утолить журналистскую жажду неудовлетворенных душ... Могу, допустим, сообщить, что в декабре 1857 года в Польше рождается мальчик и получает при крещении имя Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, а его отец посвящает ему стихотворение: «Моему сыну, рожденному на 85-м году московской захватнической власти». В то же время в Колумбии его тезке, мальчику по имени Хосе, дарят на Рождество коробку восковых мелков, и несколько дней кряду он рисует плохо обмундированных солдат, разящих испанских захватчиков. Пока я, шестилетний, писал для своего боготинского наставника сочинения (в частности, про шмеля, летающего над рекой), Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, которому не исполнилось еще и четырех, признавался в письме отцу: «Не люблю, когда меня кусают комары».

Вам нужно больше примеров, господа присяжные читатели?

В 1863 году я слушал, как взрослые говорят о восстании либералов и его результате – светской, социалистического толка Конституции Рионегро; в том же году Юзеф Теодор Конрад Коженёвский также стал свидетелем восстания в окружающем его взрослом мире, восстания поляков против русского царя, которое отправит за решетку, в изгнание или на расстрел мно-

¹⁴ Что в имени (англ.).

гих его родственников. Пока я в пятнадцать лет начинал задавать вопросы о том, кто мой отец, – то есть вводить его в свою жизнь, – Юзеф Теодор Конрад Коженёвский смотрел, как его отец мало-помалу отдается во власть туберкулеза, – то есть уходит в смерть. К 1871 или 1872 году Юзеф Теодор Конрад Коженёвский уже выказывает желание уехать из Польши и стать моряком, хотя моря никогда не видел. Примерно тогда же, в мои шестнадцать-семнадцать, я угрожаю матери сбежать из дома и из Онды, навсегда исчезнуть из ее жизни, если только она... Если она не хочет потерять меня, она должна...

Так оно и было: от мирного сомнения я перешел к бешеной пытливости. В голове у меня случилось нечто очень простое. Всегдашнее неведение, с которым в детстве я поддерживал сердечные дипломатические отношения, начало вдруг бунтовать против любого спокойствия и нападать, причем целью нападения неизменно была моя бедная, подвергающаяся шантажу мать. «Кто? – вопрошал я. – Когда? Почему?»

«Кто?» (Грубым тоном.)

«Как?» (Неподобающим тоном.)

«Где?» (Откровенно агрессивным тоном.)

Переговоры шли месяцами, встречи на высшем уровне проходили в кухне гостиницы Бекмана – среди кастрюль, под шкворчание кипящего масла, неизменно пахшего жареной рыбой, – пока моя мать, словно надсмотрщик, отдавала распоряжения кухарке Росите. Антония де Нарваэс никогда не опускалась до банальной лжи, будто бы мой отец погиб, не делала его героем гражданской войны – на этот титул рано или поздно может рассчитывать каждый колумбиец – или жертвой какого-нибудь романтического происшествия вроде падения с породистого скакуна или дуэли за восстановление попанной чести. Нет, я всегда знал, что он где-то есть, а моя мать подытоживала дело неопровержимой истиной: «Просто это где-то – не здесь». И тогда впервые это слово, которое в детстве казалось мне таким трудным (*neisherrek*, говорил я, заплетаясь на уроках географии) обрело для меня новую действительность, стало осязаемым. Там, на этой кривой увечной руке, выросшей у моей страны, на этом богом забытом обрубке, отделенном от остальной родины сельвой, которая вызывала лихорадку одним своим упоминанием, там, где болезней насчитывалось больше, чем обитателей, и где единственным проблеском человеческой жизни был примитивный поезд, сокращавший путь от Нью-Йорка до Калифорнии охотникам за удачей, там, в Панаме, жил мой отец.

Панама. Для матери, как и для всех колумбийцев, которые обычно действуют по образу и подобию своих правительств, подвержены тем же безумствам, испытывают те же антипатии, Панама была не более реальна, чем Калькутта, или Бердичев, или Киншаса, – слово, пятнающее карту, вот и все. Правда, железная дорога вытащила панамцев из забвения, но ненадолго, на мучительно краткий миг. Спутник – вот что представляла из себя Панама. И политический режим делу не помогал. Стране к тому времени было лет пятьдесят, и она начинала вести себя соответственно возрасту. Кризис зрелости, этого загадочного среднего возраста, когда мужчины заводят любовниц, которые в дочери им годятся, а женщины воспаляются без причины, у страны проявился по-своему: Новая Гранада стала федерацией. Словно поэт или артист кабаре, взяла себе новый псевдоним: Соединенные Штаты Колумбии. Так вот, Панама была одним из этих штатов и держалась на орбите гранд-дамы-в-кризисе скорее силой притяжения, чем другими причинами. Это изящный способ сказать, что влиятельным колумбийцам, богатым торговцам из Онды или Момпокса, политикам из Санта-Фе или военным откуда угодно на штат Панама и все, что в нем происходило, было наплевать.

И там жил мой отец.

«Как?»

«Почему?»

«С кем?»

В течение двух долгих, словно века, лет, на нескончаемых кухонных сеансах, увенчивавшихся невероятно сложной в приготовлении жареной телятиной или простым рисовым супом с агуапанелой, я потихоньку оттачивал технику допроса, а Антония де Нарваэс, словно тушеная картошка, мягчала под моим напором. Я услышал от нее про газету *La Opinión Comunera*, или *El Granadino Temporal*, узнал про неполное затопление «Юниона» и даже немало заплатил одному гребцу, чтобы свозил меня на бонго посмотреть торчащие из воды трубы; узнал я и о свидании на «Исабели», причем рассказ матери на вкус отдавал хинином и разбавленным спиртом. Новая лавина вопросов. Что случилось за два десятилетия, минувшие с тех пор? Что еще о нем известно? Неужели их пути не пересекались все эти годы? Что делал мой отец в 1860 году, когда генерал Москера объявил себя верховным главнокомандующим и страна утонула – да, дорогая Элоиса, в который раз, – в крови противоборствующих? Что он делал, с кем обедал, о чем говорил, пока в гостиницу Бекмана на одной неделе прибывали либералы, а на следующей – консерваторы, и моя мать кормила одних и перевязывала раны другим, словно колумбийская Флоренс Найтингейл? Что он думал и писал в последующие годы, когда его товарищи – радикалы, атеисты и рационалисты, захватили власть, как он и мечтал с юности? Их идеалы процветали, духовенство (бич нашего времени) было лишено своих непроезжимо использовавшихся угодий, а Его Высокопреосвященство Архиепископ (рука, направляющая бич) надлежащим образом заключен в тюрьму. Неужели перо отца не оставило в связи с этим следа в прессе? Как такое было возможно?

Передо мной предстала ужасающая картина: мой отец, едва начав рождаться для меня, мог быть уже мертв. Антония де Нарваэс, вероятно, увидела, в каком я отчаянии, испугалась, что я облачусь в абсурдный гамлетовский траур по неведомому отцу, и соблаговолила избавить меня от напрасных страданий. Сочувствуя мне или под действием шантажа, или по обоим причинам разом, она призналась, что каждый год, примерно 16 декабря, получала от Мигеля Альтамирано небольшое письмо, в котором он описывал свою жизнь. Все они остались без ответа (меня поразило, что она нисколько этого не стыдится). Антония де Нарваэс сжигала письма, но сперва прочитывала, как читают очередную часть романа с продолжением авторства Дюма или Диккенса: интересуясь судьбой главного героя, но всегда осознавая, что ни блажененького Дэвида Копперфильда, ни несчастной слезливой Дамы с камелиями на самом деле не существует, что все их радости и беды, какими бы трогательными нам ни казались, никак не влияют на жизнь людей из плоти и крови.

«Ну так расскажи мне», – потребовал я.

И она рассказала.

Рассказала, что несколько месяцев спустя после прибытия в Колон Мигель Альтамирано обнаружил, что репутация запальчивого писателя и сторонника прогресса опередила его, и не заметил, как оказался на службе в газете *Panama Star*, той самой, что бедолага мистер Дженнингс читал на «Исабели». Рассказала, что моему отцу поручили очень простую миссию: он должен был бродить по городу, заходить в конторы Панамской железнодорожной компании, кататься сколько душе угодно на каком угодно поезде через Перешеек в город Панама и обратно, а потом писать, какое чудо эта железная дорога и какие неизмеримые блага она принесла и продолжает нести как иностранным вкладчикам, так и местным жителям. Рассказала, что отец прекрасно понимал: его используют для пропаганды, но не возражал, потому что первое дело, с его точки зрения, оправдывало все. С годами он начал замечать, что улицы, хоть железную дорогу запустили не один год назад, все еще не мощены, а единственное их украшение – дохлые животные и разлагающийся мусор. Повторяю: он заметил. Но это не поколебало его нерушимую веру, как будто один вид идущего поезда стирал все элементы пейзажа вокруг. Эта особенность, упомянутая вскользь, как простая черта характера, через много лет обретет решающее значение.

Все это рассказала мне моя мать.

А потом продолжила рассказывать.

Рассказала, что лет примерно за пять отец превратился в этакое избалованное дитя панамского общества: акционеры компании благоволили ему как своему посланнику, боготинские сенаторы приглашали на обеды и прислушивались к его мнению, и каждый государственный чиновник, каждый представитель старой аристократии Перешейка, будь он из семейства Эррера, или Аросемена, или Аранго, или Менокаль, мечтал женить его на одной из дочерей. Рассказала, что гонораров за колонки Мигелю Альтамирано едва хватало на жизнь закоренелого холостяка, но это не мешало ему каждое утро бесплатно ухаживать за больными в колонском госпитале. «Госпиталь – самое большое здание в городе, – заметила моя памятьливая мать, цитируя одно из утраченных писем. – Он даст тебе представление о здоровье населения. Но на любом пути в будущее встречаются рытвины, и здешний путь – не исключение».

Но не только это рассказала Антония де Нарваэс. Как любой романист, она приберегла самое важное напоследок.

Однажды утром Мигеля Альтамирано в сопровождении Бласа Аросемены взял на борт в Колоне «Ниспик», куттер, набитый американскими морскими пехотинцами и панамскими мачетеро¹⁵, и доставил в Каледонскую бухту. Дон Блас Аросемена явился к отцу накануне вечером и сказал: «Соберите вещи на несколько дней пути. Завтра мы отправляемся в экспедицию». Мигель Альтамирано послушался и четыре дня спустя уже входил в Дарьенскую сельву, а с ним еще девяносто семь человек. Неделю он шел за ними следом в вечной ночи под сенью деревьев и видел, как голые по пояс мужчины прорубают дорогу мачете, а другие, белые, в соломенных шляпах и синих фланелевых рубашках, отмечают в тетрадях все, что их окружает: глубину реки Чукунаке при попытке перейти ее вброд, но и явную любовь скорпионов к парусиновым туфлям: геологический состав какого-нибудь ущелья, но и вкус жареной обезьяны, если запивать ее виски. Гринго по имени Джереми, ветеран войны Севера и Юга, одолжил моему отцу ружье, потому что ни один человек не должен оставаться безоружным в таких местах, и рассказал, что с этим ружьем он сражался при Чикамоге, где леса такие же дремучие, как здесь, а вдаль видно на меньшее расстояние, чем может преодолеть стрела. Отец, жертва своих приключенческих грез, был очарован.

Как-то вечером они разбили лагерь у отполированной индейцами скалы, покрытой иероглифами винного цвета, – те же индейцы, вооруженные отравленными стрелами и отличавшиеся такой серьезностью лиц, какой отец никогда не видел, довольно долго служили им проводниками. Отец стоял и в немом изумлении разглядывал изображение человека, поднявшего руки навстречу ягуару или пуме, и вдруг, слыша краем уха разговор между, допустим, каким-нибудь лейтенантом армии Конфедерации и маленьким ботаником в очках, почувствовал, что в этом путешествии – смысл его жизни. «Энтузиазм не давал мне уснуть», – писал он Антонии де Нарваэс. И хотя Антония де Нарваэс винила не энтузиазм, а москитов, мне показалось в ту минуту, что я понимаю отца. На листочке, давно погибшем от руки моей матери, написанном наверняка в спешке и все еще под впечатлением от экспедиции, Мигель Альтамирано изложил свое главное предназначение. «Они хотят раздвинуть землю, как Моисей раздвинул море. Хотят разделить континент надвое и осуществить старинную мечту Бальбоа и Гумбольдта. Здравый смысл и все проведенные исследования показывают, что прорыть канал между двумя океанами невозможно. Дорогая сеньора, я даю вам обет со всей торжественностью, на которую способен: я не умру, не увидев этого канала».

Господа присяжные читатели, вам, как и всей Британской империи, хорошо известен анекдот, который часто рассказывал Джозеф Конрад, вспоминая, с чего началась его страсть к Африке. Помните? Эпизод, полный неподдельного романтизма, хотя не мне тут иронизировать. Джозеф Конрад – еще ребенок, еще Юзеф Теодор Конрад Коженёвский, а карта Африки

¹⁵ *Мачетеро* – рубщик сахарного тростника в странах Латинской Америки. – *Примеч. ред.*

– еще белое пятно, содержимое которого – реки, горы – абсолютно неизвестно, место ясной тьмы, истинное вместилище тайн. Мальчик Коженёвский подносит палец к пустой карте и говорит: «Я туда поеду». Для меня мой отец в Панаме был тем же, чем была карта Африки для юного Коженёвского. Вот отец прорывается сквозь Дарьенскую сельву в компании безумцев, задающихся вопросом, можно ли здесь устроить канал, а вот сидит в госпитале Колона рядом с дизентерийным больным. Письма, которые Антония де Нарваэс оживила в памяти, вероятно, ошибаясь в деталях, в хронологии и именах собственных, стали у меня в голове пространством, сравнимым с Африкой моего друга Коженёвского: континентом, не содержащим, вопреки латинскому смыслу этого слова, никакого содержимого. Рассказ матери заключил в рамку жизнь Мигеля Альтамирано, но то, что находилось внутри этой рамки, превратилось с течением месяцев и лет в мое личное сердце тьмы. Господа присяжные читатели, мне, Хосе Альтамирано, был двадцать один год, когда я поднес палец к своей пустой карте и, дрожа от волнения, произнес: «Я туда поеду».

В конце августа 1876 года я, не попрощавшись с Антонией де Нарваэс, взошел на борт американского парохода «Селфридж» в нескольких лигах от дверей моего дома и повторил путь, совершенный отцом после того, как он неосмотрительно пролил свое семя. Шестнадцать лет прошло со времен последней гражданской войны, на которой либералы убивали больше, не потому что их армия была лучше или храбрее, а потому что пришел их черед. Смертоубийство между моими соотечественниками – национальная версия смены караула: оно повторяется время от времени и обычно следует правилам детской игры («теперь моя очередь командовать страной» – «нет, моя»). Так вот, в момент моего отъезда в Панаму как раз разыгрывалась очередная смена караула, и руководил ею, как водится, Ангел Истории. Я проплыл по Магдалене, оживленной попеременным движением сражающихся сторон, забитой сампанами с грузом не какао или табака, а мертвых солдат, чей гнилостный запах мешался с дымом из паровых труб, и вышел в Карибское море у Барранкильи, и разглядел с палубы Ютовую гору и даже крепостные стены Картахены, и, возможно, допустил некую наивную мысль (например, задался вопросом, видел ли мой отец этот же пейзаж в свое время и что он при этом подумал).

Но я не мог догадываться, что в окруженном крепостными стенами картахенском порту только что побывал парусник, пришедший под французским флагом из Марселя с остановками в Сен-Пьере, Пуэрто-Кабельо, Санта-Марте и Сабанилье, и теперь он направлялся в город, известный некоторым его пассажирам как Эспинуолл, а некоторым – как Колон. Я шел в кильватере «Сент-Антуана», но не знал этого, как и того, что вечером, по прибытии в Колон, мой пароход проплыл всего в двух лигах от парусника, удобно пришвартованного в порту Баия-Лимон. Как и того, что «Сент-Антуан» совершил это плавание тайно, и в судовом журнале не осталось о нем ни единой записи, и груз он вез не законный, а контрабандный: семь тысяч винтовок для повстанцев-консерваторов, а среди контрабандистов был юноша на два года моложе меня, стюард на жалованье, застенчивый католик благородного происхождения. Фамилию его остальной экипаж выговорить не мог, а сам он уже начинал складывать у себя в голове – тоже контрабандой – все, что видел и слышал, запоминать интересные истории, распределять по полочкам персонажей. Нужно ли мне утверждать очевидное? Это был некий Коженёвский, именем Юзеф, именем Теодор, именем Конрад.

III

Джозеф Конрад просит о помощи

Да, дорогой мой Джозеф, да, я был там, в Колоне, пока вы... Мне не пришлось присутствовать лично, но, учитывая почти телепатическую природу наших отношений, невидимых нитей, поддерживающих постоянную связь между нами, это не имеет никакого значения. Почему вы не верите, мой дорогой Джозеф? Разве вы не знаете, что встречу задумал сам Ангел Истории, превосходный постановщик, опытный кукольник? Разве вы не знаете, что от судьбы не убежать? Разве сами не писали о ее вездесущности в нескольких книгах? Разве вы не знаете, что наша связь – уже часть истории, а история отличается тем, что свободна от докучливого обязательства быть правдоподобной?

Но сейчас я должен вернуться назад во времени. Сразу предупрежу, что потом забегу вперед, а после снова вернусь назад и так далее, поочередно, последовательно, упрямо. (Это плавание во времени изнурит меня, но выбора нет. Как можно вспоминать, не утомляясь воспоминанием? Иначе говоря, как телу удастся нести вес памяти?) Словом, я устремляюсь назад.

Незадолго до прибытия юный Коженёвский, воспользовавшись минутой штиля, подходит к борту «Сент-Антуана» и небрежно окидывает взглядом пейзаж. В Карибском море он уже в третий раз, но никогда прежде не бывал в заливе Ураба, никогда не видел берегов Перешейка. После того, как судно проходит мимо залива и приближается к бухте Лимон, Коженёвский различает три необитаемых острова – словно три каймана в воде, нежащиеся на солнце, точнее, ловящие его лучи сквозь завесу облаков, какая бывает в это время года. Позже он спросит, и ему ответят: да, островов три, да, названия у них есть. Скажут: это архипелаг Мулаток. Скажут: Большая Мулатка, Малая Мулатка, остров Прекрасный. По крайней мере, так ему вспомнится годы спустя, в Лондоне, когда он попытается восстановить подробности путешествия... Он задастся вопросом, не изменяет ли ему память, вправду ли на Малой Мулатке он видел косматую пальму, а на Большой, как ему кто-то сказал, из склона оврага бьет прохладный источник. «Сент-Антуан» идет к порту Баия-Лимон, спускается ночь, и Коженёвский чувствует, что игры огней в море обманывают его зрение, потому что остров Прекрасный видится ему голой гладкой скалой, от которой (или это только мираж?) поднимается пар накопленного за день жара. Потом ночь поглощает сушу, и у побережья открываются глаза: с корабля видны только костры индейцев куна, но они не помогают ориентироваться, а лишь сбивают с толку и пугают.

Я тоже видел озарявшие ночь костры куна, но позвольте сказать ясно и громко: больше я не видел ничего. Ни островов, ни пальм, ни тем более дымящихся скал. Потому что в ночь моего прибытия в Колон – несколько часов спустя после юного Коженёвского – на бухту пал густой, словно суп, туман, позже уступивший место самому мощному ливню, который мне доводилось видеть к тому времени. Вода безжалостно хлестала палубу, и, честное слово, я в своем невежестве даже подумал, а не затушит ли она котлы. В довершение, немногочисленные пристани Колона были до отказа забиты судами, мы не смогли причалить и провели ночь на борту. Читатели, давайте начнем развенчивать некоторые тропические мифы: неправда, что чем дальше от земли, тем меньше москитов. Москиты панамского побережья способны, судя по той ночи, пересекать целые заливы, загоняя нерадивых пассажиров под сетки. Словом, это было невыносимо.

Наконец рассвело, и тучи москитов, и настоящие тучи рассеялись, и пассажиры, и экипаж «Селфриджа» провели день на палубе, нежась на солнце, подобно кайманам или Мулаткам, в ожидании благой вести о разрешении причалить. Но вот снова стемнело, и вернулись настоящие и прочие тучи, а пристани Колона по-прежнему были переполнены, словно матросский бордель. На третий день нас воскресили. Небо чудесным образом просохло, и в час вечерней

прохлады (а это роскошь) «Селфриджу» нашлась койка в борделе. Пассажиры и экипаж хлынули на берег, как ливень, и я впервые ступил на территорию моего проклятия.

Я приехал в Колон, потому что мне сказали, что там я найду своего отца, знаменитого Мигеля Альтамирано, но как только моя пованивающая нога в сыром задубелом сапоге шагнула в шизофренический город, все благородные классические мотивы – Эдип и Лай, Телемах и Одиссей – отправились к черту. Не мне в моем почтенном возрасте приукрашивать действительность: когда я окунулся в городской гвалт, Поиски Отца стали наименее важным делом. Признаюсь, я отвлекся, да, отвлекся. Я позволил Колону отвлечь меня.

Первое впечатление: город показался мне слишком маленьким для масштабов собственного хаоса. Змея железнодорожных путей лежала метрах в десяти от бухты и, казалось, готова была скользнуть в воду исчезнуть в глубине при малейшем землетрясении. Грузчики перекивались, не понимая друг дружки, но это их, по-видимому, не волновало: вавилонское разноязычие, о котором упоминал отец, никуда не делось, а жило и процветало на пристанях у железной дороги. Я подумал: «Это и есть мир». Отели не принимали постояльцев, а охотились за ними; в американских салунах пили виски, играли в покер, беседу заменяли перестрелкой; кругом – притоны ямайцев, мясные лавки, управляемые китайцами, а посередине – частный дом старого железнодорожника. Мне едва сравнялось двадцать один, дорогой читатель, и длинная черная коса китайца, который с прилавка продавал мясо, а из-под прилавка – спиртное матросам, или витрина ломбарда Maggs & Oates на главной улице, полная драгоценностей таких размеров, каких я никогда не видел, или антильская сапожная лавка, где плясали соку, были для меня все равно что приоткрытые двери в беспорядочный великолепный мир, намеки на бесчисленные соблазны, долгожданные письма из Гоморры.

В тот вечер я впервые сделал то, что впоследствии повторил через много лет на другом континенте: прибыл в незнакомый город и стал искать гостиницу на ночь. Признаюсь, я не слишком всматривался, и меня не испугало, что хозяин (или служащий) за стойкой одной рукой протягивал мне журнал постояльцев, а в другой держал винчестер. В том же странном очаровании духа я снова вышел на улицу и, оглябая запряженные мулами повозки, а также мулов и повозки по отдельности, добрался до двухэтажного салуна. Над деревянной вывеской, на которой значилось: General Grant, развевалось звездно-полосатое знамя. Я облокотился на стойку, заказал то, что пил человек рядом, но отвернулся прежде, чем усатый бармен успел налить мне виски: зал салуна и клиенты являли собой интереснейшее зрелище.

Я увидел двух гринго, дерущихся с тремя панамцами. Увидел шлюху, которую все называли Француженкой, – бедра, раздавленные оттого, что по ним на свет выбрался не один ребенок, усталые груди, горечь в линии рта, гребень набекрень в волосах, – и вообразил, что когда-то она совершила ошибку, приехав в Панаму с мужем, незадачливым искателем приключений, который вскоре пополнил статистику колонского госпиталя. Увидел группу матросов, верзил в открывающих грудь темных вязаных блузах. Они собрались вокруг Француженки и уламывали на ее языке, настойчиво, но не без учтивости, и я увидел, почувствовал, что она наслаждается этим необычным, давно забытым ощущением: мужчина обращается к ней с неким подобием уважения. Увидел, как вошел возница и попросил собравшихся помочь ему стащить дохлого мула с путей; увидел, как несколько американцев взглянули на него из-под шляп с узкими полями, закатали сальные рукава и отправились с ним.

Все это я увидел.

Но кое-чего другого не увидел. А то, чего мы не видим, имеет обыкновение сильнее всего на нас влиять. (Это изречение продиктовано Ангелом Истории.)

Я не увидел, как низенький человечек, похожий на нотариуса или на мышь, подошел к стойке и попросил внимания пьющих. Не услышал, как он на ломаном английском рассказывает, что купил два билета на утренний поезд до города Панама, но днем его маленький сын умер от холеры, и теперь он хочет получить обратно пятьдесят долларов за билеты, чтобы

ребенка не схоронили в общей могиле. Я не увидел, как капитан французов попросил человека повторить рассказ, чтобы убедиться, что правильно понял, не увидел, в какой момент один из моряков под началом капитана, коренастый мужчина лет сорока, пошарил в кожаной сумке, подошел к капитану и вложил ему в руку деньги, равные цене двух билетов, в американских купюрах, перевязанных бархатной ленточкой. Вся операция продлилась не дольше, чем пьется стакан виски (я, занятый своим стаканом, ничего этого не увидел). Но в тот краткий миг что-то проплыло рядом со мной, почти дотронулось... Постараемся найти подходящую метафору: крыло судьбы коснулось моего лица? Призрак будущих встреч, дарованный нам Чарльзом Диккенсом? Нет, лучше уж скажу как было, без лишних метафор. Читатели, пожалейте меня или посмейтесь, если хотите: я не видел этой сцены, она прошла мимо меня, и, соответственно, я не узнал, что произошло. Я не узнал, что капитана звали Эскарра и был он капитаном «Сент-Антуана». Но это бы полбеды: я также не узнал, что его правую руку, коренастого сорокалетнего мужчину, звали Доминик Червони, а среди прочего экипажа, сопровождавшего их в ту ночь безудержного веселья и важных сделок, был и молодой стюард; он рассеянно наблюдал за происходящим, и звали его Юзеф Коженёвский, а через много лет рассеянный наблюдатель – уже не под фамилией Коженёвский, а под псевдонимом Конрад – использует этого моряка – уже не под фамилией Червони, а под прозвищем Ностромо – для целей, которые впоследствии его прославят... «Даже циклоп не мог бы тягаться с Домиником Червони, Улиссом с острова Корсика», – напишет годы спустя зрелый и преждевременно ностальгирующий романист. Конрад восхищался Червони, как любой ученик восхищается учителем; Червони, со своей стороны, взял на себя роль покровителя юного неопытного поляка в общих приключениях. В этом и состояла суть их отношений: Червони отвечал за воспитание чувств начинающего моряка и контрабандиста-дилетанта. Но в тот вечер я так и не узнал, что Червони – это Червони, а Конрад – это Конрад.

Я тот, кто не видел.

Я тот, кто не знал.

Я тот, кто не присутствовал.

Да, вот кто я такой: анти-свидетель.

Список того, что я не видел и не узнал, куда длиннее: я мог бы заполнить несколько листов и озаглавить их «То, что со мной случилось, а я не заметил». Я не знал, что, купив билеты, капитан Эскарра и его экипаж вернулись на «Сент-Антуан» отдохнуть пару часов. Не знал, что перед рассветом Червони нагрузил четыре шлюпки и с шестью гребцами (в том числе Коженёвским) вернулся в порт примерно в то время, когда я, не пьяный, но слегка пошатывающийся, вышел из General Grant. Я еще долго бродил по людным улицам Эспинуолла-Колона-Гоморры, а Доминик Червони швартовал четыре шлюпки у причалов железной дороги; там, в полутьме, его ждали грузчики, и пока я возвращался в гостиницу, намереваясь проснуться пораньше и начать Поиски Отца, грузчики принимали таинственные ночные ящики, пронесли их под арками склада, устанавливали в вагонах состава, идущего в город Панама (и слышали при этом металлическое позвякивание стволов и стук дерева, но не задавались вопросом – что там, да для кого, да куда отправится), и укрывали парусиной на случай внезапного ливня, каковой являлся чуть ли не визитной карточкой Перешейка.

Все это прошло мимо меня, едва затронув. Если выразиться высоким стилем: ангел крылом коснулся меня и т. д. Если выразиться низким: я все проморгал. Мысль о том, что я *мог бы* там быть, хоть и не был, не утешает, поскольку не дает никаких прав. Если бы несколько часов спустя я не дрых на неудобной гостиничной койке, а выглянул с балкона, то увидел бы, как Червони и Коженёвский, Улисс с Корсики и Телемах из Бердичева, садятся в последний вагон по билетам, купленным накануне у несчастного, похожего на мышшь мужчины из салуна. Если бы я простоял на балконе до восьми утра, то увидел бы, как контролеры в надежно надвинутых шляпах идут из вагона в вагон и пунктуально объявляют, что поезд отправляется, учуял

бы дым паровоза и услышал его вопль. Вагоны потянулись бы прямо у меня под носом, увозя среди прочих Червони и Коженёвского, а в товарном, чуть позади – тысячу двести девяносто три игольчатых казнозарядных винтовок Шасспо, которые переплыли Атлантический океан на борту «Сент-Антуана» и сами могли бы рассказать не одну увлекательную историю.

Да, господа присяжные читатели, в моем демократичном повествовании вещи тоже имеют голос, и нужно дать им слово (к каким только уловкам не приходится прибегать бедному повествователю, чтобы рассказать то, чего он не знает, чтобы заполнить пустоты чем-то интересным...). Я спрашиваю: если бы, вместо того чтобы храпеть у себя в комнате и в преддверье чудовищной мигрени, я спустился бы к вокзалу, смешался с толпой пассажиров, проник в товарный вагон и стал допытываться у любой случайно выбранной для удовлетворения моего безграничного любопытства винтовки Шасспо, какую историю она бы мне поведала? В некоем конрадовском романе, название которого у меня нет охоты припоминать, некий манерный персонаж, некий креол, воображающий себя парижанином¹⁶, говорит: «Да что я знаю о винтовках?» А я зайду с другой стороны и задам (простите мою скромность) куда более интересный вопрос: что знают винтовки о нас?

Шасспо, привезенную Коженёвским в колумбийские края, сделали на заводе в Тулоне в 1866 году. В 1870 году ее взяли на вооружение для битвы при Вейсенбурге, и солдат Пьер-Анри Дефург, сражавшийся под командованием генерала Дуэ, метко стрелял из нее в Бориса Зеелера (1849 года рождения) и Карла-Хайнца Вальдраффа (1851 года рождения). Самого Пьера-Анри Дефурга ранили из винтовки Дрейзе, после чего он покинул театр военных действий; в госпитале он получил известие о том, что его невеста мадемуазель Анриетт Арно (1850 года рождения) разорвала помолвку и намерена выйти замуж за месье Жака-Филиппа Ламбера (1820 года рождения), предположительно, по расчету. Пьер-Анри Дефург проплакал двадцать семь ночей кряду, а потом вставил дуло (11 миллиметров) винтовки Шасспо в рот, коснулся дулом небного язычка (7 миллиметров) и спустил курок (10 миллиметров).

Шасспо досталась Альфонсу Дефургу, кузену Пьера-Анри, и тот, вооруженный ею, защищал Марс-ла-Тур. В ходе сражения Альфонс сделал семнадцать выстрелов и ни разу не попал в цель. Тогда капитан Жюльен Роба выхватил (довольно грубо) у него винтовку и со стен крепости Меца попал из нее в кавалеристов Фридриха Штрекера, Иво Шмитта и Дитера Дорештайна (все 1848 года рождения). Воодушевленный этим капитан Роба рванулся на передовую, в течение пяти часов отражал атаки двух прусских полков и был убит выстрелом из винтовки Снайдера – Энфилда. Никто так и не смог понять, откуда взялась винтовка Снайдера – Энфилда у прусака из Седьмого кирасирского полка (Георга Шлинка, 1844 года рождения).

В битве при Сен-Прива Шасспо переходила из рук в руки сто сорок пять раз, а стреляли из нее пятьсот девяносто девять раз, из которых сто девяносто семь обернулись смертельным ранением, сто семьдесят один – несмертельным, а двести тридцать один не достигли цели. В какой-то момент между 14:10 и 19:30 ее бросили в траншею. Жан-Мари Рэ (1847 года рождения), воевавший под командованием генерала Канробера, встал на место убитого стрелка у митральезы и сам был вскоре застрелен. После битвы Шасспо снова пустили в дело, уже при Седане: там она, как и Наполеон III, потерпела поражение и оказалась в плену, с той лишь разницей, что Наполеон III уехал в Англию, а Шасспо верно послужила Конраду Дерессеру (1829 года рождения), капитану Одиннадцатого артиллерийского полка прусской армии, при осаде Парижа. В руках у Дерессера она побывала в Зеркальном зале Версальского дворца и присутствовала при провозглашении Германской империи, за спиной у Дерессера оглядывала интерьеры эпохи Людовика XIV и ловила красноречивые взгляды мадам Изабель Лафури, у ног Дерессера лежала в лесах за дворцом и наблюдала, как бедра капитана отвечают на эти взгляды. Несколько дней спустя Дерессер поселился в занятом немцами Париже, а мадам Лафури, в

¹⁶ Имеется в виду Мартин Декуд из романа Конрада «Ностромо». – *Примеч. пер.*

качестве оккупированной территории, начала оказывать ему регулярные услуги (29 января, 12 февраля, 13 февраля, 2 марта, 15 марта в 18:30 и 18:55, 1 апреля). Второго апреля в комнату Дерессера на рю де л'Аркад внезапно вламывается месье Лафури. Третьего апреля Дерессер принимает секундантов месье Лафури. Четвертого апреля Шаспо ждет в сторонке, пока месье Лафури и капитан Дерессер берут в руки револьверы Галана (изготовлены в 1868 году в Бельгии). Оба револьвера выстреливают, но пуля (10,4 миллиметра) попадает только в Дерессера, который валится на землю и растягивается во весь рост (1750 миллиметров). Пятого апреля 1871 года месье Лафури продает винтовку противника на черном рынке, что никак нельзя назвать благородным поступком.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.